

ПОЛЯКОВ

ЮРИЙ



Время
прибытия

Юрий Михайлович Поляков
Время прибытия
Серия «Собрание сочинений
Юрия Полякова», книга 1

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8641174
Время прибытия / Юрий Поляков: АСТ; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-087903-8

Аннотация

В первый том десятитомного собрания сочинений известного русского писателя Юрия Полякова вошли знаменитые «запретные» повести «Сто дней до приказа» (1980) и «ЧП районного масштаба» (1981), а также стихи разных лет, многие из которых публикуются впервые. Специально написанные для этого издания авторские вступительные эссе «Как я был поэтом» и «Как я был колебателем основ» приоткроют читателям тайны творческой лаборатории замечательного художника слова.

Содержание

Как я был поэтом	4
1	5
2	13
3	23
4	28
5	37
6	61
7	69
8	77
Стихотворения	81
Из книги «Время прибытия»	81
Из книги «Разговор с другом»	115
Непережитое	120
Из книги «История любви»	173
Из книги «Личный опыт»	240
Стихи, не вошедшие в сборники или не опубликованные	284
Юношеские стихи	284
Из цикла «Живопись»	294
Ранние стихи	296
Пародии	305
Конец ознакомительного фрагмента.	308

Юрий Поляков

Время прибытия

Как я был поэтом

Перечитать старые письма или перебрать свой пыльный архив – лучший способ вспомнить достоверное прошлое и полнее понять его. Листая желтые страницы былого, ты словно возвращаешься в знакомый музей, где бывал в простодушном детстве, в доверчивой юности, когда еще не прочитал тома исследователей и не пережил бурные увлечения теориями, легко и до основания объясняющими наш мир. И вот теперь, стоя перед витриной с сияющими доспехами, ты уже не восхищаешься, как в отрочестве, блеском ратной брони, а по-взрослому грустишь о том, что даже дамасская сталь не способна уберечь от смерти хрупкую человеческую жизнь. Ее ничто не способно уберечь! Так случилось и со мной, когда я в канун 60-летия открыл коробки с давними моими рукописями, куда не заглядывал четверть века. Открыл, нашел свои стихотворные черновики, строгие редакционные отказы, первые сочувственные рецензии и вспомнил, как я был поэтом. Но вспомнил как-то иначе, по-другому, совсем по-другому...

1

Человека, который хоть недолго был поэтом, я узнаю с первого взгляда. И не важно, кем он стал после своей поэтической кончины – журналистом, прозаиком, политиком, инженером, бизнесменом, генералом, бомжем... Как заметил, кажется, Флобер: на дне души самого жалкого бухгалтера таятся обломки великого поэта. А все дело в том, что поэт – счастливый невольник слова. Он и в быту разговаривает совсем не так, как другие, – не просто обменивается информацией, а наслаждается, упивается рождением внезапного словесного смысла... Он кожей чувствует, что иной крошечный промежуток между словами значит куда больше, нежели сами слова. Для него слово – это живая белка на великом древе, соединяющем землю и небеса. Для большинства же слово – это просто шапка, пошитая из мертвых беличьих шкурок...

Написаны горы сочинений о пророческих способностях поэтов, об их умении предугадывать ход истории. Это действительно так, и пророческий дар объясняется, по-моему, именно особенным чувством живого слова. Ведь все события совершаются прежде в языке, в слове, а лишь потом в реальности. Советская цивилизация была разгромлена тогда, когда мы пустили в нашу речь такие словечки, как «совок», «коммуняки», «тоталитаризм»... Не случайно было

широко подхвачено придуманное мной словечко «апофегей». Оно отразило то межеумочное состояние общества, когда по-прежнему жить не хотят, а как надо – никто не знает, кроме либеральных ведунов – извечных двоечников нашей истории.

А в 92-м, как только появились в языке «прихватизация», «демокрады» и прочее, – стало ясно: вестернизация России, если и не отменяется, то откладывается надолго. Помню, как, прочитав в «Труде» мой неологизм «соросята», мне позвонили из Фонда Сороса и предложили в обмен на лояльность вояж по американским университетам. Я, конечно, отказался с гордостью человека, только что закончившего штотпку последних штанов. Но какова оперативность! Понимают мировые закулисники цену точному слову. Поэт благодаря особому дару улавливает языковую подготовку исторических сломов намного раньше остальных. «И гад морских подводный ход» – сказано Пушкиным именно об этом, а не о миграциях косяков атлантической сельди.

Поэт может молчать, но по тому, как загораются его глаза при удачном чьем-то слове, сразу понимаешь – кто он таков. Помню, в 86-м году я был с творческой, так сказать, миссией в Сирии и встречался с тамошними литераторами. В мою задачу входило проинформировать сирийскую писательскую общественность о том, как организовано литературное дело в тогдашнем СССР, а организовано оно было, если оставить за скобками мягкий, но твердый идеологический контроль,

отлично. Мой рассказ о писательской жизни Страны Советов арабы слушали с неподвижными лицами, мерно перебирая четки. Некоторое оживление вызвали лишь сведения о тиражах толстых литературных журналов. Когда я сообщил, что тираж «Юности» – три с половиной миллиона, ониглянули на меня так, точно хотели сказать: «Хоть ты и гость, уважаемый, но врать все равно нехорошо...» В заключение переводчик Олег Бавыкин попросил меня прочитав хотя бы одно мое стихотворение. Я пожал плечами, посмотрел на эту невозмутимую бедуинскую аудиторию и продекламировал:

Война уже потеряна из вида.
И генералы – нефронтовики,
А все ж у мира, как у инвалида,
Болят ладонь потерянной руки...

Бавыкин перевел, как умел, – и вдруг эти равнодушные люди пустыни закивали, зацокали языками, заулыбались, запереглядывались, как заправские московские стихотворцы, оценившие удачную метафору коллеги за пивом в ЦДЛ. И я понял, что нахожусь среди поэтов. Мне даже показалось (стихотворцы тщеславны!), будто в гортанном клетоте мелькнуло словечко «гениально». Дело в том, что внутрищеховая оценочная шкала русских поэтов имеет только две отметки – «гениально» и «г. но». (Подробнее об этом в моем романе «Козленок в молоке».) От встречи осталось еще одно любопытное впечатление: в непривычных лицах арабских

писателей угадывались до боли знакомые черты насельников московского литературного общежития. «Смотри – Евтушенко!» – шепнул мне переводчик, кивая на худого нервного араба со сдвинутым набекрень игалем, в самом деле удивительно похожего на нашего громкого поэта, умеющего ссориться с властью с неизменной выгодой для себя. «А вон – Михалков...» И точно! Только Звезды Героя Труда на соубе не хватало. Вероятно, в любом литературном сообществе в силу внутренних законов всегда есть неизбежные вакансии, которые замещаются людьми со схожими данными, в том числе и внешними. Возможно, в будущем, когда мы познакомимся с марсианским поэтом, прибывшим в составе инопланетной делегации, кто-нибудь всплеснет руками: «Батюшки, ну вылитый Юрий Кузнецов!»

В разные эпохи стихи востребованы по-разному. Иногда поэзия выдвигается на роль самого активного и знаменитого вида искусства. Так было перед Октябрьской революцией и после нее. Слава Маяковского и Есенина общеизвестна. Евтушенко, Ахмадулина, Вознесенский десятилетия жили на проценты с того успеха, который обрушился на них в 60-е годы, когда послушать стихи собирались на стадионах и в ответ на удачную метафору ревели покруче, чем теперь ревут, восторгаясь искусно забитым голом. Лариса Васильева рассказывала, как почитатели поэзии на руках выносили ее после вечера в Политехническом. Кстати, благодаря кадрам, вошедшим в удивительный фильм М. Хуцие-

ва «Застава Ильича», можно вообразить, будто именно показанные в фильме поэты (те же Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Окуджава) и были в ту пору исключительными фаворитами читателей. Это не так. Столь же бурно воспринимались стихи и некоторых других поэтов, а самые восторженные аплодисменты вызвали те, что прочитал Сергей Поликарпов, которого долго не отпускали со сцены. Почему Хуциев не включил самое яркое выступление в свой фильм? Могу предположить: для него – птенца интернационального гнезда – эти стихи показались слишком русскими, или, как выражались, посконными. Поликарпова такая несправедливость буквально сломила, исказив отчасти его литературную судьбу, он не стал, как и многие его достойные сверстники, героем текущей истории Поэзии. Правда, есть еще итоговая история Поэзии. Подождем...

Вероятно, в человеческом обществе случаются периоды обостренного восприятия стихотворного слова, как бывают периоды религиозной экзальтации или повышенной воинственности. С чем это связано – с солнечной активностью, со сменой культурного кода, с очередным извивом этногенеза? Бог знает... Но наступают времена, когда поэзия уходит из сферы духовных приоритетов, дробится и сжимается до крошечных кухонных парнасиков. Поэзия переходит, как сказали бы врачи, в латентное состояние, в каком она, кстати, и находится сейчас. Борясь с равнодушием общества, поэты придумывают разные «завлекалочки»: иногда талант-

ливые, как у «куртуазных маньеристов», иногда убогие, похожие на срежиссированные эпилептические припадки, как у Пригова. Снижается и уровень версификации. Сложение стихов уже не напоминает резьбу по благородному дереву, а скорее – торопливую лепку из пластилина. Но к тому, что не требует мастерства, траты времени и душевных сил, и отношение соответствующее: крошечные залы заполнены не фанатами поэзии, а подругами и собутыльниками стихотворцев, которые даже не помнят наизусть своих опусов, читают их с листа, путаясь и словно стесняясь. Уверяю вас, если поэт по-настоящему оттачивал стихотворение, он запомнит его на всю жизнь, как солдат номер полевой почты.

Однако, по моим наблюдениям, процент людей с поэтическим мироощущением постоянен, как число, допустим, левшей или гомосексуалистов. Своим присутствием, даже незаметным, они играют какую-то не до конца еще понятую роль в жизни человеческого сообщества. А может быть, поэзия – вообще какая-то «высокая болезнь» человеческого духа или языка? Не случайно с самых отдаленных времен поэтов считали собеседниками богов, людьми, которым, как и жрецам, доступна небесная изнанка мира. Они слышат, как «звезда с звездой говорит». Не исключено, что поэзия – своего рода компьютерный вирус, занесенный в искусственный интеллект киборгов – наших предков – и приведший в конечном счете к возникновению у слепленных из праха тварей того, что мы называем душой. Впрочем, кажется, в юности я пе-

речитал Брэдбери и Стругацких...

Сказать, что поэзия – тайна, это примерно то же самое, как если сказать, что любовь – это любовь. Не могу объяснить, почему всякий раз у меня выступают на теле мурашки, когда повторяю, скажем, такие строчки Владимира Соколова:

На влажные планки ограды
Упав, золотые шары
Снопом намокают, не рады
Началу осенней поры...

Кто знает, может, поэзия – это самый совершенный на сегодняшний день способ консервации энергии мысли и чувств, способ, сохраняющий не только результат, но и сам процесс творчества. В этом я убедился, составляя этот том и перебирая свой архив. Иные пожелтевшие черновики я взял в руки без малого через сорок лет. И что? Я отчетливо вспомнил все свои тогдашние мысли, чувства и ассоциации, породившие ту или иную строку, вспомнил давно забытых людей, их лица, голоса. Более того, мне удалось вернуться в то самое творческое состояние, ощутив юношеские муки от того, что метафора не лезет в размер, а сравнение напоминает бант на поясице провинциальной кокетки. Вот такая кибернетика! Но даже если ты не поэт и читаешь чужие стихи, на подсознательном уровне все равно воспринимаешь не только итог, но и проживаешь сладостно-мучительный про-

цесс сочинительства, творившийся в чужой душе. Так, наслаждаясь лирикой Пушкина, ты оказываешься, фигурально говоря, в его постели. Нет, не подумайте плохо! Как известно, гений предпочитал творить, лежа на ложе...

2

В поэзии, как и в алкоголизме, самое главное – вовремя завязать.

Поэтов-долгожителей не так уж много. Назову хотя бы Фета, Тютчева, Случевского, моего любимого Соколова. Откройте того же Пушкина и посмотрите по оглавлению, как год от года сужалась его поэтическая река... Именно Пушкин дает нам, собратьям своим меньшим, наиболее разумный пример перехода к иным жанрам, когда поэтическая энергия истаивает. Проза, критика, драматургия, журналистика, исторические разыскания... Это нормально. Ненормально, если человек, лишившийся поэтической энергии, продолжает складывать в рифму – благо рука набита. В советские времена, когда поэты неплохо зарабатывали, это было просто бедствием, но бедствием вполне объяснимым. Вообразите, вы долго, лет десять, осваивали технику стихописания. Да-да, стихосложению, как и музыке, нужно учиться, пройти через гаммы, сольфеджио. После того, как появился опыт и за рифмой не надо гоняться с мухобойкой, приходит время пробиваться в печать, добиваться известности, выгораживать свой садово-ягодный участок на Парнасе, тесном, как московское кладбище. Наконец вы пробились, добились, выгородились, вдохнули озон славы, а фонтанчик поэтического вдохновения взял да иссяк... Как? А как высыхает ко-

лодец? Еще вчера в нем даже в полдень отражались звезды, а сегодня только сухое дно с ржавыми ведрами, потерянными водоносами...

Кстати, самое время сказать несколько слов о вдохновении. Сегодня почти доказано, что за этой сладостной душевной смутой стоят заурядные биохимические процессы в организме, как стоят они за страхом, вожделением, унынием... Даже выделено особое вещество – пептиды. Не исключаю, что скоро наука предложит людям, страдающим иссякновением вдохновения, какие-нибудь стихоносные пилюли, как она подарила охладелым сладострастникам «Виагру». Я даже могу присоветовать несколько названий для таких таблеток – «Стиховит», «Пегасил», «Лермонтин», «Байроновский аспирин»... Возможно, скоро такие препараты можно будет покупать в аптеках, но пока еще поэтам – как это было в течение многих столетий – самим приходится изыскивать способы подстегнуть уходящее вдохновение. Серьезная проблема. Обратите внимание, у каждого поэта множество стихов о том, как он пишет или пытается писать. На профессиональном языке это называется «стихи о стихах». Особенно много их у начинающих. Весь ранний Пастернак – одна сплошная мука творчества. Кстати, разбирая давние черновики, я убедился, что тоже в юности писал в основном про то, как трудно мне пишется. Прямо какие-то рыдательные песни раба со стихотворной плантации. В одной, как раньше выражались, пиесе я сравниваю свои творческие муки и

тернии на пути к мастерству с горем ребенка, обладающего простым грифелем и мечтающего о коробке цветных карандашей.

Сегодня я совсем большой
И бьюсь над строчкой каждой.
И вновь с простым карандашом
И разноцветных жажду...

По качеству еле добытых неточных рифм и плохо сколоченному синтаксису чуткий читатель сразу догадается, что автору в ту пору до мастерства было, как неандертальцу до цветных фломастеров. Но дорогу осилит идущий.

Конечно, вдохновению чрезвычайно способствует любовь, особенно несчастная. Как заметил, кажется, А. Кушнер, «у счастливой любви не бывает стихов, а несчастная их не считает». Видимо, огромная энергия, выделяемая нам природой на продолжение рода и, увы, не востребованная избранницей, пометавшись по организму, выливается в горькие поэтические строки. Например, вот в такие, ахматовские:

Будь же проклят! Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом:

Я к тебе никогда не вернусь!

Или вот в такие, извините, мои:

Пусть будет так —

уж коли так случилось.

Не обещай! Пожалуйста, иди!

Не полюбился. Ну, не получилось...

Все лучшее, конечно, впереди.

Такой урок запомню я навеки.

В чужие сани, очевидно, влез.

А ты давай – вытаптывай побегу,

Где мог подняться соловьиный лес!

Особо следует поговорить о роли алкоголя в поэзии. Сказать, что поэты пьют по совсем иной причине, нежели все остальные граждане, значит слукавить. Любое живое существо имеет к алкоголю имманентное влечение – и у моего знакомого был кот-пьяница, скончавшийся от цирроза. Однако в состоянии опьянения ничего путного написать невозможно, хотя в постпортвейной эйфории порой возникает ощущение, что ты наконец-то добрался мыслью до незримых шестеренок бытия и поймал те нетленные идеи, те вечные слова, которые Платон называл, кажется, эйдосами. Иной раз, прежде чем рухнуть в постель, хватает сил нацарапать эти озарения на бумаге. Наутро, морщась и разбирая нетрезвые каракули, только удивляешься, как такая густопсовая ба-

нальщина могла показаться тебе вчера гениальным открытием!

Вечером Богу сопатку утру,
Но поутру...

Тем не менее поэты заметили и взяли на вооружение одно любопытное последствие алкогольной эйфории. После мощного удара по организму, в состоянии похмелья происходит некоторое смещение сознания, мир воспринимается иначе, обостренное: он странен, многозначен и обнажен. Душе вдруг становятся вняты какие-то связи и приметы, на которые в трезвой повседневности не обращаешь внимания. Замечено, что пик творческой активности у поэтов приходится на период после запоя. О эти послезапойные поэты! Сколько я их перевидал... Рубашка свежайшая, костюм, сильно пострадавший во время моральных и телесных падений, тщательно отутюжен. Острый запах одеколона. Лицо просветленное, а взгляд грустно-всепонимающий. И стихи, стихи, стихи... Жаль только, что запои становятся год от года все длиннее, а вдохновенные просветления все короче.

Сергей Есенин, знавший в этом толк, очень точно написал:

То ль как рошу в сентябрь
Осыпает мозги алкоголь...

Как и многие мои поэтические сверстники, я выпивки не избегал. В моих стихах вы без труда отыщете ту удивленную оторопь, которая накатывает утром, когда ужас от количества опорожненных бутылок сливается с тревожащей новизной знакомой тополиной ветки, скребущейся о стекло. Кстати, свою первую литературную премию я получил благодаря пьяной драке. Честное слово! Дело было в 1980 году в Кутаиси на фестивале братских литератур. Нахлебавшись молодого вина, я высказал ехидное замечание о стихах кубанского поэта Юрия Гречко и немедленно получил аргументированное возражение в челюсть. Когда мы, рыча, катались по полу под одобрительные крики собратьев по перу, в номер внезапно вошли писательские и комсомольские начальники. «Кто дерется?» – «Поляков и Гречко» – «Из-за чего?» – «Из-за рифмы» – «Ого!» На следующий день обсуждали мой цикл «Непережитое». Кто-то заметил: «Горячий парень! И стихи вроде ничего. Надо поддержать!» Так я стал лауреатом премии имени Маяковского.

Но шутки в сторону! Сколько талантливых людей осыпали мозги гораздо раньше, чем реализовали свои возможности! Среди них и Рубцов, и Шевченко... Но Бог им судья – сделали они тоже достаточно. Особая статья – поэты, всю жизнь регулировавшие вдохновение алкоголем, а потом резко завязавшие. Они энергичны, четки и неутомимо скучны. Наверное, именно о них когда-то написал поэт-фронтовик Александр Балин, давно умерший:

Деревянным маслом смазанный,
Он живет насквозь доказанный,
Деловой, как телеграф...

Впрочем, я, кажется, увлекся алкогольным фактором мировой поэзии. Вернемся к вдохновению. Итак, вас только-только начали хорошо издавать – а к пятидесятилетию даже готовится избранное, обычно эдак в двадцать пять листов. Для непосвященных сообщу: поэтический лист – это 700 строк. За строчку при советской власти платили в среднем 1 рубль 50 копеек. Теперь умножьте – и вы получите чуть ли не двадцать пять тысяч рублей. По советским временам – сумма огромная. Деньги, согласитесь, тоже стимул, если не для вдохновения, то хотя бы для работоспособности. Идешь, бывало, по длинному коридору Переделкинского дома творчества, а из-за обитых дерматином дверей доносится клекот пишущих машинок. Сочиняют стихи, как уголь рубят...

Помню такой вот случай. Издательство «Советский писатель». День выплаты гонораров за сборник «День поэзии». Длинная праздничная очередь в кассу, ведь так щедро платили разве что за книжки в Политиздате о пламенных революционерах, которые с удовольствием писали все будущие диссиденты. Вдруг появляется в долгополой шубе Андрей Вознесенский, растерянный, как схимник, угодивший из кельи на торжище. Он беспомощно озирается, пытаясь

понять, куда занесла его нелегкая. «Андрей Андреевич, – весело кричат из очереди. – Вы чего ищете-то?» «Я? Э-э... тут где-то, кажется, сегодня... выдают...» – бормочет он, явно избегая свинцового слова «деньги». «За «День поэзии»?» – уточняют ожидальцы. «Да... кажется... не помню...» «Это здесь. Идите сюда! Он здесь уже стоял!» – великодушно лжет кто-то, почти достигший дароносного окошка. Вознесенский смущенно, с интеллигентнейшими извинениями протискивается, снимает норковую шапку с потной головы и просовывается в амбразуру кассы. «Вы за что получаете, Андрей Андреевич?» – спрашивает бухгалтерша, исполненная значительности, как и все люди при деньгах. «Я?... Не помню... Кажется, за поэму... или нет...» – Лицо поэта обретает выражение трогательной беспомощности ребенка, забывшего стишок ко дню рождения мамы. «Ага, вот нашла! За поэму. Получите и распишитесь. Одна тысяча двести сорок четыре рубля пятьдесят восемь копеек...» Очередь затихает, уважительно оценивая грандиозный гонорар мэтра. Несколько мгновений в тишине слышно только нарастающее сопение классика, и вдруг раздается его обиженный вопль: «Как это так – одна тысяча двести сорок четыре рубля пятьдесят восемь копеек? – Лицо поэта становится сосредоточенным, как у снайпера. – Это что же выходит, по рубль пятьдесят за строчку? А мне обещали по рубль семьдесят пять, как лауреату Госпремии! Директор на месте?» «На месте. Следующий!»

Сейчас времена другие – за стихи почти не платят. Но гальванизация собственного поэтического трупа имеет сегодня иные мотивации: гранты, премии, лекционные туры за рубеж... Есть масса мест, где можно заработать и подхарчиться, но при условии, что ты сочинишь стихи, – любые. Хоть на уровне дебила, впервые узнавшего, что «стоять-бежать» – это рифма. Очень похоже на пафосные тусовки, куда пускают только в смокингх. Фейсконтролю не важно, купил ты смокинг у Армани или взял напрокат за копейки изнуренный молью костюмчик. Главное, чтобы бабочка была, где положено. Вот и приходится соответствовать. Кстати, по своей эстетической природе модный ныне концептуализм очень близок к так называемым «паровозам» советской поэзии.

Объяснюсь: «паровозами» называли стихи, написанные явно идеологическими целями и, как правило, по социальному заказу. Даже хорошему лирику необходимо было иметь хотя бы несколько «паровозов» – они как бы втягивали на страницы весь остальной лирический состав. Впрочем, были и гениальные «паровозы». Есть такое стихотворение «Коммунисты, вперед!». Его сочинил к какому-то из партийных съездов Александр Межиров, уехавший в начале 90-х в Америку, там умерший, но похороненный в Переделкине. Поэт прочел его делегатам, срубил свой гешефт и вроде бы все – забыли. Я тоже писал к съезду комсомола стихи. Кто их помнит? Ан, нет... «Коммунисты вперед!» остались. Более того, это одно из самых мощных стихотворений в русской по-

эзии XX века. Читая межировские строки, понимаешь, почему «красная идея» победила фашизм и преобразила «избяную Русь»:

Есть в военном уставе такие слова,
На которые только в тяжелом бою,
Да и то не всегда
Получает права
Командир, поднимающий роту свою...

Так вот, лишившись лирической энергии, в прежние времена уходили в рифмованную идеологию. Сколько таких рифмующих солдат партии я насмотрелся в молодости. Прочитав утром передовицу «Правды», они вечером несли в редакцию стихи, где было все, кроме поэзии. Сегодня, лишившись того же самого (а природа творчества от социальной системы не меняется), поэт уходит в интертекстуальное пересмешничество или конструирование смыслов, точно так же не имеющие ничего общего с подлинным творчеством. Когда человек уже не может писать просто про любовь или просто про ненависть, он начинает писать про свою любовь или ненависть к коммунизму, России или, скажем, к демократии и Америке. С точки зрения Политики, он, может быть, очень нужный человек, с точки зрения Поэзии, – просто зомби...

Сочинять стихи я начал в школе, классе в восьмом. Уже и не помню, о чем были мои первые строчки. Впрочем, это легко вычислить, так как особым разнообразием тематики начинающие поэты не отличаются. Как правило, с большим или меньшим успехом стартуют в трех направлениях, пытаясь выразить самые сильные свои чувства. Прежде всего это, конечно, любовь и все состояния души, ей сопутствующие, – восхищение, надежда, тоска, отчаянье, ревность, возжелание... Кто хоть раз пытался высказать трепет сердца в поэтических строчках, тот знает, как это испепеляюще трудно. Такое ощущение, словно пытаешься сработать античную камню с помощью отбойного молотка. Хочется сказать про любимого человека нечто особенное, небывалое – и юный, удрученный заурядностью повседневных слов поэт начинает выражаться метафорически. А это не просто.

С коварством метафоры я столкнулся рано. Классе в пятом мне очень нравилась девочка по имени Шура Казаковцева. В особый трепет меня приводили ее глаза – большие, карие. И вот как-то на уроке пения я решил поведать о своих чувствах. Набрался храбрости и шепнул ей на ушко: «Знаешь... А у тебя глаза, как шарики с Казанки...» Ответом мне был взор, полный негодования. Объяснюсь: мы, мальчишки, таскали с товарной станции Казанской железной дороги,

проходившей недалеко от нашей школы, стеклянные шарики диаметром сантиметра три. Шарики были двух цветов – зеленого и медово-янтарного. Очень красивые!

Каково было назначение этих шариков, до сих пор не знаю, скорее всего что-то оборонное... Но наряду с марками, этикетками и прочей мальчишеской важной чепухой они являлись стихийной валютой моего детства. Наверное, именно тогда, окаченный ледяным взглядом Шуры, я понял, что для глубокого поэтического сравнения одного внешне-го сходства маловато. Кому же понравится, если твои глаза уподобляют каким-то там стекляшкам с «Казанки»?..

Другая обычная тема для начинающего поэта – восторг перед красотами природы. Знакомая ситуация: бывалый до циничности гражданин, оказавшись, например, на берегу дымящегося утреннего озера или взглянув на звездное небо, чувствует вдруг некое поэтическое шевеление в душе и сокрушается: «Эх, ну почему я не сочиняю стихи?» Но если обычный человек просто чувствует шевеление, то начинающий поэт хочет выразить это шевеление словами. Я тоже пытался. Одна из моих первых попыток выглядела следующим образом:

Словно обломок «империала», —
Сломанного на пари,
В небе луна застряла
И горит...

А согласитесь: не так уж плохо – сравнить ущербную луну с половинкой золотой монеты, сломанной кем-то неведомым и могучим... Но остановиться на достигнутом было никак нельзя, и меня повело дальше:

Горит, бросая потоки нежности
В пустоту...
Скоро, скоро цветы неизбежности
Зацветут...

«Какие цветы, какой неизбежности?» – спросите вы. А черт их разберет... Наверное, начитался символистов. Вообще поначалу поэт как бы плутает среди чужих образов, интонаций, ритмов. Иногда так всю жизнь и плутает, а после смерти получает обидное прозвище «эпигон», хотя именно эпигоны живут легче и веселее настоящих поэтов. Они, как шкодливые шакалята, поедают остатки не ими заваленного буйвола. Но это метафора... В жизни эпигоны, напротив, чрезвычайно значительны, любят заседать в президиумах, они увешаны премиями до пят, обласканы критикой, которая, кстати, всегда путает эпигонство с классичностью, а новаторство с шутовством. Среди современных сочинителей тоже есть эталонные эпигоны, например, Амелин, от которого, начиная с псевдонима, вторичностью разит, как нафталином из бабушкиного сундука.

В литературе остаются, конечно, только настоящие писатели. А вот в истории литературы эпигонов пруд пруди. Зай-

дите в Камергерский переулок и посмотрите сначала на ще-душного бронзового Чехова, а потом на монументального Николая Асеева, суровым орлом смотрящего с большой мемориальной доски. Теперь вообразите, что Москву, как Помпею, чем-то, не дай бог, засыпало. Через тысячу лет потомки раскопали Камергерский переулок и наткнулись на эти два мемориальных осколка великой некогда литературы, чьи тексты давно утрачены. Кого потомки сразу же вообразят главным русским писателем? Ну, конечно же, Асеева. Чеховское изваяние они скорее всего примут за надгробие какого-то литературного неудачника...

И наконец, третий источник вдохновения – патриотизм. Да-да, я не оговорился. Даже сегодня, когда любовь к Отечеству служит объектом насмешек и издевательств телевизионных хохмачей, это исконное чувство живет, притаясь, в душах большинства людей. Нелюбовь к своему Отечеству – вид нравственного заболевания, причем страсть к сочинительству – одно из осложнений, сопутствующих этому серьезному недугу. Классическая история такой болезни – творчество Дмитрия Быкова. Литераторы его направления испытывают к стране обитания примерно те же чувства, что пассажир, севший не в тот поезд и в ужасе узнавший, что ехать теперь придется до конечной станции, а ему – в обратную сторону...

Патриотизм – чувство древнее, уходящее корнями в детство человечества. Вот архантропа рано утром разбудила на-

зойливая летучая мышь. Он открыл глаза, потянулся, оглядел родную пещеру, похрапывающих во сне соплеменников, мосластые останки вчерашнего ужина и – сердце его наполнилось необъяснимой теплотой, а бессловесные пока еще мысли сложились в восторженные образы, которые на наш современный язык можно было бы перевести так:

Широка, тепла моя пещера!

Много в ней друзей, костей и шкур...

Шутка...

Когда в начале 80-х на радио я вел поэтический клуб «Березка», мне приходили тысячи писем от начинающих поэтов со всех уголков необъятной нашей страны. В этих письмах были самые разные стихи, на самые разные темы, но больше всего – стихов о любви к Родине. Многие, увы, напоминали рифмованные передовицы газеты «Правда», и в ту пору меня это страшно раздражало. Но теперь, поумнев и пережив разгром страны, я думаю о том, что государственная пропаганда, навязывающая гражданам любовь к своей стране, это – при всех издержках – все-таки гораздо естественнее, нежели агитпроп, воспитывающий в людях неприязнь к собственной Державе. Дорогие молодые поэты, пишите стихи о любви к Родине! Не стесняйтесь своего чувства! Это нормально и даже необходимо. И пусть вас не смущает раздражение тех, кто едет в чуждом поезде. Они вам не попутчики...

4

Путь советского юноши, заболевшего стихами, был пред-
решен. И путь этот лежал через литературные объединения,
которых в ту пору было несметное множество. Без преуве-
личения вся страна была покрыта густой сетью этих самых
объединений. Они организовывались при заводских много-
тиражках, домах культуры, горкомах комсомола, писатель-
ских организациях. Их двери были гостеприимно распахну-
ты и для поседелого графомана, и для желторотого гения.
Я и сам вел как-то литературный кружок при маргариновом
заводе, где молоденькие фасовщицы смущенно показывали
мне такие вирши:

Ты меня целовал и в кусты поволок,
А в кино пригласить почему-то не мог!

Однако в литобъединение начинающий поэт попадал не
сразу. Сначала он должен был убедиться в том, что литера-
турный мир жесток и несправедлив. Как только у юного со-
чинителя скапливалось несколько, по его мнению, закончен-
ных стихотворений, он всеми правдами и неправдами нахо-
дил доступ к пишущей машинке. Да, доступ! Это сейчас на
каждом шагу компьютеры да принтеры, а вот в 1970 году я
ехал через всю Москву к моей тете Вале, служившей секре-

тарем-машинисткой в Главторфе, и она, отрываясь на бесконечные звонки и вызовы начальства, печатала мои первые стихи на казенной пишущей машинке. Помню, друг моей литературной молодости Игорь Селезнев, претендовавший на роль лидера поколения и закончивший умопомешательством, познакомил меня с юным поэтом Олегом Хлебниковым, впервые приехавшим из Ижевска в Москву. Он был в отчаянье, ибо привезенные отпечатанные экземпляры мгновенно кончились, а множество столичных редакций остались не охваченными. Я выслушал жалобы провинциала и повел его к тете Вале с той гордостью, с какой сегодня ведут поиздержавшегося друга к родственнику-банкиру.

Первой моей собственной машинкой стал списанный с баланса маргаринового завода, где работала моя мама, реликтовый «Рейнметалл». Его огромная каретка возвращалась по окончании строки на место с таким грохотом и мощностью, что вполне могла бы использоваться в качестве стенобитного агрегата. Но это случилось позже...

Итак, вы молодой поэт, впервые держащий в руках собственные стихи, отпечатанные на машинке. Пока ваши строчки, черканые-перечерканные в творческих муках, таятся в тетрадке, все это остается вашим личным, интимным делом. Теперь же, когда четверостишия выстроились на бумаге, как парадные полки на Красной площади, вы вдруг осознаете, что просто не имеете никакого права и дальше скрывать от общества плоды ваших первых вдохновений! Вы

чувствуете себя почти профессионалом, вкладываете стихи в конверты и отправляете сразу в несколько адресов – в «Литературную газету», «Юность» или «Новый мир»... Письма, конечно, должны быть заказными, и, заплатив деньги, вы еще несколько минут стоите у окошечка, наблюдая, не забудет ли почтовая девушка положить ваш конверт в нужную кучку. А то ведь не дойдет заказное до адресата – и та же редакция «Нового мира» не будет через неделю потрясена открытием нового ярчайшего таланта.

В том, что редакция будет потрясена, вы ни минуты не сомневаетесь. И не потому, что глупы или не образованны. Я встречал докторов наук и высокоумных людей, пишущих совершенно несусветную чушь. Например, своей беспомощностью меня потрясли стихи академика-филолога В. Иванова, да и С. Аверинцев, прямо скажем, дальше каботажного плавания в море поэзии не углублялся. И дело не в уме или образованности. В принципе, а в период становления особенно, поэт вообще не может оценить написанный им текст, он оценивает лишь тот упоительный замысел, то «приближение звука», которое подвигло к сочинительству. И, перечитывая готовые строчки, автор не в состоянии оценить результат.

Приведу пример. Вечер у друзей. В углу сидит скромная милая девушка с печальным взором. Вы приглашаете ее на танец. Она встает, кладет вам руку на плечо, и вы кружитесь, кружитесь, кружитесь в фантастически красивом танце, ваши тела вздрагивают от случайных соприкосновений, а аро-

мат ее волос пьянит вас сильнее вина... Вы еще долго потом вспоминаете тот вечер! Затем ваш друг приносит кассету – он, оказывается, тайком записал все это на видеокамеру. Вы вставляете кассету в магнитофон – и о, ужас! Развязный лысеющий гражданин с животиком неуклюже подваливает к юной деве, потом долго топчется, наступая бедняжке на ноги, а она, страдалица, все время норовит отвернуть свой тонкий носик в сторону. Ну конечно, перед ангажементом на танец вы для храбрости маханули рюмаху, закусив ее селедочкой с луком...

– И это – я?! – в ужасе восклицаете вы.

Да, это – вы!

Полагаю, растолковывать нехитрую аллегорию нет необходимости. Добавлю: никакой поэт никогда не может оценить свои стихи совершенно объективно. Я с этим часто сталкивался в редакторской или составительской работе. «Старик, делаем антологию, неси пять лучших стихотворений! Лучших. Понял?» – «Понял». И он действительно понял и будет сидеть полночи, мучиться и отбирать, отбирать и мучиться... В результате принесет пять худших или вообще никаких стихотворений. И в этом смысле прав Пастернак, обмолвившийся:

Но поражение от победы

Ты сам не должен отличать...

В противном случае вместо головокружительных пиков поэтических побед мы бы имели утомительное горное плато.

Но вернемся к отправленным письмам. Через неделю вы начинаете нервно заглядывать в почтовый ящик. Странно! По вашему твердому убеждению, потрясенный «Новый мир» должен откликнуться немедленно. Но где же ответ? Его нет. Нет через месяц. Нет и через полгода. Вы жалуетесь кому-то из опытных знакомых, и тот радостно объясняет, что ждете вы совершенно напрасно, ибо в журналах работают исключительно злодеи и завистники (это отчасти верно), и они никогда ваши стихи не напечатают. Из зависти к таланту. Такое объяснение немного успокаивает, но как-то ночью вы просыпаетесь от страшного подозрения, а наутро бежите в библиотеку читать «Юность» и «Новый мир». Так и есть! Какой-то опубликованный поэт имярек пишет, что «у лета крылья махаона», а у вас было:

Вокруг ошалевшее лето
На крыльях стрекозких парит...

Обокрали!

Как тут не вспомнить изумительное стихотворение в прозе Тургенева про поэта Юлия, укравшего строчки Юния, и тем прославившегося! Но вот через год, уже потеряв всякую надежду, вы лениво лезете в ящик за утренней газетой и обнаруживаете большой конверт с логотипом «Нового мира»,

а там все ваши стихи, исчерканные красным карандашом, и короткая рецензия, смысл которой обычно один и тот же: хорошо, что вы сочиняете стихи, а не пьете горькую, но вам еще много нужно над собой работать. «...Вот, например, у вас написано:

И нюхая букет еще вначале,
Ты думала, Инесса, о конце...

О каком именно конце думала Инесса? И не кажется ли автору, что следует осторожнее пользоваться великим и могучим!...» «Мерзавец! – возмущаетесь вы. – Неужели он не понимает, что речь идет о трагической предопределенности любви!»

Все он, мерзавец, доложу я вам, понимает, но с концом вы и в самом деле погорячились. Далее, в рецензии вам непременно сообщат, что «возьми» и «позови» не рифма, а «любовь» и «вновь» рифма, но за нее в приличном литературном обществе могут просто набить морду. Мало того, у вас непременно отыщут строчки с так называемыми неприличными «зияниями». Например:

Когда ж **о**пали наши розы,
Вас **у**качал полночный поезд...

В заключение рецензии неперменный совет: «А идите-ка вы, юноша, в ближайшее литературное объединение!» И

подпись, допустим, литературный консультант, например, Шилобреев.

– Как Шилобреев! – восклицаете вы. – Да я же читал его стихи. Он же графоман! Он сам не умеет писать... Мафия...

Обычно на первой, зубодробительной, рецензии ломается добрая половина начинающих, отсеивается, уходит в иную, бесстиховую жизнь. Но другая половина, превозмогая обиду, не отказывается от мечты и выясняет адрес ближайшего литературного объединения.

Я оказался во второй половине.

Все это я описываю со знанием дела, ибо в свое время получал очень похожие рецензии. Особенно запомнился мне своей зубодробительностью ответ, кажется, из «Студенческого меридиана», подписанный Владимиром Шленским – автором замечательной песни «Ах, необыкновенное танго послевоенное!». Впоследствии мы подружились и поддерживали отношения до самой его внезапной смерти в середине 80-х. Он был благороден, занимая деньги, никогда не брал больше пяти рублей (стоимость бутылки водки с плавленым сырком), объясняя: «Все равно не отдам!» Однажды, выпив в ЦДЛ, я мстительно напомнил о его уничижительной рецензии. Он пожал плечами, мол, не помню, знаешь, сколько у меня вас было! Это называлось работать «на заруб». Заведующий отделом поэзии вываливал внештатному рецензенту кипу подборок и говорил коротко: «На заруб». За каждый «заруб» рецензент получал, кажется, десятку и ходил,

что называется, по локоть в крови начинающих поэтов. Но, с другой стороны, на десятку в те времена можно было погулять в ресторане.

Как правило, рецензенты даже не вчитывались в тексты, выискивали орлиным взором несколько «ляпов», благо их хватало, и рубили сплеча. Впрочем, бывали исключения. Например, поэт Илья Фаликов в довольно сдержанной рецензии на мою рукопись где-то в середине 70-х обмолвился, что, по его мнению, Поляков скоро перейдет на прозу. Вчитался...

Сегодня со всей прямоотой могу сказать: рецензенты зарубили мои первые стихи справедливо – это было беспомощное ученичество, хотя какие-то строчки отмечались как удачные. Например, у меня имелся длинный-предлинный рифмованный диалог поэта с самим собой о том, зачем он, дескать, пишет стихи. Начинался диалог так:

– Зачем вы пишете стихи?
Вы что же думаете, строки
Умеют исцелять пороки
И даже исправлять грехи?
Зачем вы пишете стихи?..

Вообще любимое занятие начинающего поэта, как сказано выше, поразмышлять о тайнах творчества, в которых он ни черта еще не смыслит. «Стихи о стихах» – бич юных поэтов, за что их корят рецензенты и наставники. Мой диалог

поэта с самим собой тоже был подвергнут решительной критике, некоторое снисхождение заслужили лишь первая и последняя строфы:

- Ну хоть один от ваших виршей
Стал добродетельней и выше?
Скажите прямо, не тая!
- Один? Конечно! Это – я.

Их-то я и оставил. Пожалуй, это единственное из моих юношеских стихотворений, которое я включил в первый и последующие сборники. Но вернемся к судьбе молодого поэта, ошарашенного первыми рецензиями на его стихи.

Переболев обидой, я внял совету и отправился в литературную студию при Московской писательской организации и горкоме ВЛКСМ. Кстати, устроиться туда было не просто, но я еще в школе был комсомольским активистом и завел кое-какие связи в верхах. А поэтам, как инвалидам, начальники помогают охотно. Располагалась студия почему-то в Доме политпросвещения на улице Володарского, ныне Гончарной. Семинары там вели крупнейшие тогдашние поэты, прозаики, драматурги, критики, переводчики: Евгений Винокуров, Борис Слуцкий, Алексей Арбузов, Юрий Трифонов, Александр Рекемчук... Даже студенты Литинститута бегали к нам «обсуждаться», считая, что у нас семинары посильнее.

Я попал в семинар Вадима Витальевича Сикорского – поэта, может быть, и не крупного, но чрезвычайно профессионального и образованного. Он был из литературной семьи, дружил с сыном Марины Цветаевой Муром, пропавшим на войне. Ему же судьба назначила вынимать в Елабуге из петли великую Марину. Сикорский был высок, плечист и с орлиным интересом поглядывал на юных поэтесс. Будучи опытным бильярдистом, он часто с гордостью говорил нам: «Я первый кий Союза писателей!» – причем слово «кий» произносил с неким не совсем бильярдным оттенком. Женат он был неоднократно.

В нашем семинаре собралось десятка два начинающих поэтов и поэтесс, не считая нескольких обязательных в таком месте рифмующих шизофреников. Кто-то так потом и сгинул безо всякого литературного результата, но многие стали настоящими профессионалами. Иных уже нет в живых. Признанный лидер нашего семинара Ефим Зубков, автор песни про паролод детства, повесился в 1976 году в собственном туалете. Его строчку про женские ноги, прорастающие в весенней толпе, отметил Вознесенский. Замечательный и явно недооцененный поэт Евгений Блажеевский, любимец Сикорского, умер в конце 90-х. Один за другим ушли уже в новом веке – Александр Щуплов, Игорь Селезнев, Юрий Чехонадский... Активно трудятся на различных литературных нивах Александр Буравский, Наталья Сидорина, Владимир Вишневецкий... Это все наш семинар! Поколение...

Кстати, я учился в ту пору на литфаке областного пединститута имени Крупской. На одного парня приходилась дюжина девушек, будущих учительниц. Ностальгически вспоминая те времена, я лишь изумляюсь, что за все годы обучения так и не завел на курсе ни одного романа. Давно замечено: коренные обитатели прибрежных курортов редкокупаются...

Из шестерых моих однокурсников трое стали известными литераторами. Ну, про меня вдумчивый читатель и сам, очевидно, догадался. Назову также Александра Трапезникова, отличного прозаика, сочинявшего в ту пору странный сюр-

реалистический роман про говорящие рога. А еще нельзя не упомянуть Тимура Запоева, который известен ныне любителям поэзии как поэт-концептуалист Тимур Кибиров. Помню, он всюду ходил с томиком Блока из Библиотеки всемирной литературы и сочинял что-то грустно-символическое, но в общении с товарищами был чрезвычайно ехиден. Когда, много лет спустя, я узнал, что он сменил свою изумительную, Богом данную фамилию на рахат-лукумный псевдоним, то был поражен. Ведь тот же Николай Глазков, из которого по сути и вышел весь наш отечественный «концептуализм», отдал бы половину своей печени за фамилию «Запоев». Всю печень, конечно, не отдал бы, так как был человеком серьезно пьющим. Кстати, поэт-сатирик Владимир Вишневский учился на нашем же факультете, но курсом старше и сочинял вполне лирические стихи под Рождественского, например, про мальчика, подающего во время футбольного матча мячи. На самом деле он, разумеется, имел в виду себя, начинающего поэта, который еще всем покажет. И показал!

Есть такое выражение в театре «Актер Актерыч». Так называют человека, который всем своим видом старается подчеркнуть свою причастность к сцене, говорит утробным голосом, а ходит наподобие тени отца Гамлета. Вишневский вел себя как заправский Поэт Поэтыч. В разгар студенческой пирушки он мог вдруг погрустнуть, уйти в уголок, достать хорошенький блокнотик, сувенирную авторучку и, ошупывая взыскующим взором пустоту перед собой, заняться со-

чинением стихов. «Володя, рюмку пропустишь!» – звал кто-то неосторожный. Но на него сразу шикали: «Т-с! Человек стихи пишет. Не видишь, что ли?» Я всегда царапал набежавшие строки на клочках бумаги, терял, горевал об утратах и завидовал, глядя на Володин блокнотик. После института мы довольно долго поддерживали отношения. Но как и большинство юмористов, обсмеивающих все, что шевелится и даже умерло, Вишневский не переносит остроты в свой адрес. Как-то представляя его на большом вечере в ЦДЛ, я сказал: «Чехов утверждал, что краткость – сестра таланта. Выступает брат таланта – Владимир Вишневский!» Я-то имел в виду его стихи в одну строчку, вроде «Давно я не лежал в Колонном зале». Но он понял по-своему, обиделся – и наши пути разошлись.

Но если в Вишневском тогда невозможно было угадать будущего смехача корпоративов, то я в ту пору как раз отдавал предпочтение пародиям и стихотворному юмору:

Теперь дома особенные строят:
Я слышу, как внизу бифштекс горит,
Как наверху кого-то чем-то кроют
И как «звезда с звездой говорит»...

Роясь в своем архиве, я отыскал дюжину пародий, показавшихся мне достойными, чтобы опубликовать их спустя сорок лет в этом томе. Кажется, они стали смешнее, чем в момент написания. Так бывает... Кстати, подражание, пере-

ходящее в пародирование, – обычный путь стихотворного ученичества. Ибо, смеясь, с прошлым расстается не только общество. Смеясь, пародируя, ерничая, молодой поэт расстается со школярством, с зависимостью от литературных авторитетов, осваивает чужую стилистику, учится замечать дурновкусие у других, а потом и у себя. Некрасов писал: «И скучно и грустно, и некого в карты надуть...» Дурачился. Но ведь он еще написал и «Русских женщин», и «Кому на Руси жить хорошо»... Если бы мне кто-нибудь тогда, в студенческие годы, предсказал, что игра со знаменитыми цитатами лет через двадцать станет основным содержанием поэзии и будет называться «постмодернистской интертекстуальностью», я бы просто рассмеялся. Молодая литературная компания всегда живет пересмешничеством, розыгрышами, дурачествами, буриме, эпиграммами, но делать из этого профессию, объявлять эстетической школой – нелепость. Точно так же утренние ежедневные пробежки для растряски живота можно объявить большим спортом. Объявили. И что?

В начале минувшего столетия поэзия была полноправным участником и даже организатором грандиозного цивилизационного слома русской революции, изменившей мир. В лучшую или в худшую сторону – другой вопрос. В конце XX века не менее грандиозный катаклизм поэзия (не вся, конечно, но тем не менее) прохихикала и пробалагурила. Неисповедимы пути Слова! Можно, конечно, упрекать поэтов. Но с другой стороны: а если «иронизм» – на самом деле

не что иное, как неосознанная ими самими реакция на чуждость, ненужность этого катаклизма нашей российской государственности и культуре? Или же, наоборот, «иронизм» – тот страшный грибок, который стремительно размягчает, сжирает несущие конструкции общественного устройства. Не знаю... Думаю. Но люди, особенно бурно потешавшиеся в начале 90-х, лично мне не симпатичны...

Однако вернемся в Дом политпросвещения на улице Володарского.

Главный смысл семинара состоял в том, чтобы научить нас даже не писать, а понимать стихи. А чужие стихи понять и оценить гораздо проще, чем свои. Владимир Николаевич Соколов как-то раз очень точно заметил: «Свой стиль у поэта появляется не тогда, когда он понимает, как должен писать, а тогда, когда он понимает, как писать не должен». Оказавшись в кругу себе подобных, сознаешь: несмотря на всю свою высокоталантливую исключительность, ты совершаешь те же самые ошибки, что и остальные сочиняющие граждане. А обнаружив двусмысленные «концы» в строчках товарища по перу, начинаешь иначе воспринимать собственные сочинения.

Занятия семинара проходили так. Назначался «виновник торжества». Допустим, выбор падал на тебя. Заранее размножив свои стихи с помощью дружественной машинистки, ты раздавал подборки товарищам по семинару, а первый экземпляр вручал, разумеется, руководителю. И трепетно ждал

своей очереди... Ты уже знал, чем заканчивались такие обсуждения для других, но верил: с тобой все будет иначе! Семинар просто содрогнется от открытия небывалого таланта, на руках тебя качать, наверное, не будут, но все-таки...

И вот наступает день «Ч». С утра меня трясет и лихорадит, или, как выражается нынешняя молодежь, плющит и колбасит. Домашние встревожены: «Юра, что случилось?» Я отшучиваюсь. Ну как, в самом деле, признаться, что ты ждешь и отчаянно трусишь предстоящего семинарского обсуждения, предназначенного стать твоим звездным часом?! В последний раз, запершись в туалете, я, профессионально завывая, репетирую чтение лучших моих стихов. Таких, например:

Мелким дождиком неистребимым
Обернувшись, как целлофаном,
Одинокие грозди рябины
Исступленно зацеловал он...

Ну разве это не гениально? Все будет хорошо.

– Кто у нас сегодня? – спрашивает Сикорский, окидывая зал взором усталого патологоанатома.

И вот я на трибуне. Да, забыл сказать: мы занимались в конференц-зале, где имелась роскошная могучая трибуна, очевидно, для политических просветителей с их нудными докладами. В креслах – коллеги по литературному цеху. Одни смотрят ободряюще, мол, держись, старик! Это соратни-

ки и друзья. Другие поглядывают с чувством явного эстетического превосходства. Это литературные недоброжелатели и соперники. Все как в большой словесности! А откуда-то из самого уголочка шлет взоры, полные нежности и восхищения, некая милая девушка. Это – моя девушка.

Она знает все мои стихи наизусть, восхищается ими еще больше, чем я сам, и пришла сюда, чтобы разделить мой триумф.

– Ну-с, начнем! – объявляет Сикорский.

Я ощущаю во всем теле праздничную невесомость и начинаю. Сикорский внимательно слушает, что-то помечая на полях рукописи, а иногда после какой-нибудь особо удачной, на мой взгляд, метафоры отрывается и смотрит на меня с картинным удивлением, словно я безбилетник, предъявивший ему, контролеру, вместо билета бланк анализа мочи. (О, этот взгляд я запомнил навсегда!) По количеству таких «изумлений», если понаблюдать из зала, можно предугадать результаты обсуждения, а точнее – показательной порки.

Странное чувство испытываешь, выходя читать стихи залу. Еще минуту назад ты был абсолютно уверен в своей гениальности, но, увидев устремленные на тебя глаза слушателей, вдруг осознаешь, что ты, идиот, совершенно напрасно вознамерился морочить людей своей рифмованной белибердой. Освищут, зашикают – и поделом. Нет, еще хуже:отреагируют мертвым, ледяным молчанием. Впервые я читал стихи публике на каком-то студенческом празднике в перепол-

ненном актовом зале МОПИ имени Крупской. Это были пародии. Я сочинил «Мартовский триптих», пытаюсь представить, как могли бы написать про весенних кошек Асадов, Евтушенко и Вознесенский – в те годы популярные до невменяемости. За несколько минут до выхода я решил еще раз проверить себя и шепотом прочитал пародии какому-то слонявшемуся за кулисами старшекурснику.

– Чепуха! – констатировал он, выслушав.

Тут меня объявили, я побрел на сцену, как на казнь, и зачем-то начал декламировать... Зал смеялся и долго мне аплодировал.

– Здорово! – похвалил тот же старшекурсник, поймав меня, окрыленного, за кулисами.

Счастье публичного признания можно, наверное, сравнить только с восторгом обладания прекрасной женщиной, еще недавно недоступной, а вот теперь нежно и покорно трепещущей в твоих объятьях...

Но вернемся в Дом политпросвещения. Я заканчиваю чтение стихов и на ватных ногах возвращаюсь в зал, друзья ободряющежимают мне руки, литературные недруги иронически усмеваются, а взор девушки обещает мне все, о чем только может мечтать молодой поэт.

– Ну-с, – предлагает Сикорский, – прошу высказываться. Кто у нас первый оппонент?

– Я! – с тихой улыбкой расчленил-извращенца встает и идет к трибуне один из моих лютых литературных недругов.

И начинается Великое Избиение Поэтического Младенца. Никто лучше собратьев по перу не видит твоих огрехов и никто не умеет так чудовищно их громить. Все у меня не так: и ритм, и рифма, и настроение, а моими сравнениями и метафорами не стихи инструментовать, а забивать сваи в вечную мерзлоту.

– Ну что это такое: «Мелким дождиком неистребимым обернувшись, как целлофаном, одинокие грозди рябины иступленно зацеловал он»?!

– Почему, например, целлофаном, а не полиэтиленом? – вопрошает оппонент.

Зал хихикает. Я скрежещу зубами, ибо гордился рифмой «целлофаном – зацеловал он». Это удар ниже пояса. Общеизвестно, что ради рифмы в стихи не то что целлофан – тринитротолуол притащишь... Вот сволочь!

– Почему у тебя дождик «неистребимый», а грозди «одинокие»? Это не точно. Эпитеты случайные.

– Не случайные! – вскакиваю я со своего места.

– Случайные!

– Почему?

– Потому. Ходасевича надо читать! – бьет он наотмашь.

Полузапрещенного в то время Ходасевича я, конечно, не читал, о чем, наивный осел, как-то признался товарищам в курилке. Ему, гаду, хорошо: у него папа в АПН служит и наверняка таскает в дом весь «тамиздат». А мне, отпрыску рабочего семейства, где взять?

– «Исступленно зацеловал он» сказано не по-русски, – продолжает избиение так называемый оппонент. – Можно испступленно целовать. Испступленно зацеловать нельзя.

– Можно! – снова вскакиваю я.

– Нельзя.

– Можно!!

– Нельзя...

Все смотрят на Сикорского.

– Нежелательно, – вздохнув, отвечает он.

– Но все эти «огрехи» – ерунда... замахивается для смертельного завершающего удара оппонент. – Тебе просто не о чем писать. Какие-то пейзажики и прочая мура. В стихах нет судьбы. У тебя в жизни не было настоящей трагедии. Вот если бы твоя любимая женщина попала под трамвай...

В глазах моей девушки, жмущейся в углу, ужас. Под трамвай ей явно не хочется, даже ради моей поэтической судьбы.

– А у тебя была трагедия? – окончательно вскакиваю я.

– Была, – отвечает мой гонитель с той горделивой поспешностью, которая не оставляет сомнений в том, что и у него никакой трагедии пока в жизни не было. Разве что отец из загранкомандировки джинсы не привез.

«Ничего, – подбадриваю себя я. – Сейчас за меня заступятся...»

Но друзья, на поддержку которых я рассчитываю, вяло пытаются возражать и от растерянности хвалят какие-то мои совершенно необязательные строчки, нажимая на то, что мо-

лодой талант, даже если он и не совсем еще талант, заслуживает бережного к себе отношения. Тем более что обсуждаемый поэт, то есть я, – отличный товарищ, хороший человек и даже комсомольский активист. В глазах моей девушки является то выражение, какое обычно бывает при виде собачонки, раздавленной уличным транспортом. Сикорский все больше хмурится. И я с ужасом понимаю: моя жизнь, во всяком случае литературная, не удалась. Личная жизнь, кстати, тоже под угрозой...

Наконец товарищи по перу сказали все, что про меня думают, довершив черное дело, начатое «расчленителем». Теперь все смотрят на Вадима Сикорского. Надо заметить, он был в своих разборах объективен, хотя и строг до чрезвычайности. Не ругал он только явных графоманов – щадя этих чаще всего нездоровых людей, приносивших на обсуждения бесконечные стихотворные поздравления друзьям к праздникам и дням рождения.

– М-да, – вздыхает Сикорский, обегая глазами симпатичных девушек в зале. – А почему вы не прочитали «Февраль»?

– Какой февраль?

– Ну вот, у вас в подборке:

Снег цвета довоенных фото
Лежит, подошвами примят.
Ворчанье шин.
На поворотах
Трамваи старчески скрипят...

– Оно мне не удалось! – гордо объявляю я.

– Да, стихи неровные... «Ворчанье шин» – плохо. Ворчать на вас будет жена (короткий взгляд на мою девушку). «Старчески скрипят» – тоже плохо – «штамп». У вас вообще какой-то штамповочный цех! «Лежит, подошвами примят» – неуклюже... Хотя имеет право на существование. А вот «снег цвета довоенных фото» – хорошо. Даже очень хорошо!

Работайте над собой! Кого обсуждаем в следующую пятницу?

– Меня... – жалобно сообщает мой главный погромщик. И в моей душе расцветает чертополох возмездия...

Вадим Витальевич прожил долго и скончался два года назад. Я написал некролог для «Литературной газеты». Вот он с некоторыми сокращениями:

«Умер Вадим Витальевич Сикорский. На 91-м году жизни. Один из могикан некогда многочисленного и могучего племени советских поэтов, точнее поэтов советской эпохи. Он дебютировал с книгой «Лирика» в 1958 году, уже зрелым человеком, а по меркам нынешних скороспелых дебютов – и вовсе «стариком». Его стихи были лаконичны, афористичны, сдержаны, почти лишены примет неизбежной тогда политической лояльности, что выгодно отличало их от многословия эстрадной поэзии, изнывавшей от этой самой лояльности.

В предисловии к «Избранному» в 1983-м году он писал:

«Главным в поэте я всегда считал уникальную способность оказаться наедине с миром, со вселенной, со звездами, с самим собой. Умение взлететь ввысь сквозь любые учрежденческие потолки, сквозь стены и этажи увеселительных заведений, сквозь тяжелые железобетонные стены любых подвалов». Сикорский был всегда сосредоточен на странностях любви, на вечных и проклятых вопросах:

Ничто не вечно – ни звезды свечение,
ни пенье птиц, ни блеск луча в ручье, —
ничто не вечно. Смерть не исключение:
Не может вечным быть небытие.

После 91-го, когда в поэзии воцарился концептуальный цирк, Сикорский ушел в тень, его публикации стали редкостью, он сел за большой роман, главу из которого «ЛГ» напечатала несколько лет назад. До последнего времени он оставался бодр, в его крепком стариковстве явно угадывался некогда полный страстей, красивый, сильный мужчина, овладевший не одной женской привязанностью, чувствовавший себя без любви, «как скульптор без глины». Сам он с присущей ему самоиронией как-то назвал себя в стихах «атлетическим повесой». И мне хочется, вопреки строгому жанру эпитафии, процитировать мое самое любимое стихотворение ушедшего поэта «Встреча», по-моему, замечательное:

Опасность была не уменьшена
Ни светом, ни тем, что – народ...
Почти нереальная женщина
Навстречу спокойно идет.

Из облака солнцем точенная?
На лбу – неземного печать?
Нет, мысль, на слова обреченная,
Об этом должна промолчать.

Решусь объяснить лишь косвенно:
Всю мудрость налаженных дней,
Как нечто никчемное, косное,
Забыв, я пошел бы за ней.

Устроенность жизни, направленность,
Всех помыслов, все, чем я жив,
Я сжег, если б ей не понравилось,
К ногам ее пепел сложив.

Такая мне богом обещана.
Потупясь – себя отстраня,
Смертельно опасная женщина,
Прошла, не коснувшись меня.

Прощайте, Вадим Витальевич! В судьбе человека, посвятившего себя стихам, много горечи, но есть и одна привилегия: его ждет не только вечная жизнь за гробом, но и неведомая судьба в параллельных мирах высказанного поэтиче-

ского слова».

Но тогда, в 74-м, он еще жив и бодр, с опаской принимает из дрожащих рук следующего «виновника торжества» подборку стихов и заинтересованным взором провожает мою девушку, неотразимую в своей юной взволнованности. После обсуждения мы, как водится, пьем в скверике обязательный портвейн. Друзья, отводя глаза, объясняют, мол, все дело в том, что я плохо читал свои стихи, что у Сикорского какие-то неприятности в «Новом мире», что наши литературные враги просто сволочи и пишут еще хуже, чем я...

– Ой, извини!

Потом, проводив девушку домой, я еду к себе на станцию «Лосиноостровская» в полночной электричке. Спасительный наркоз портвейна неумолимо выветривается, и леденящая оторопь непоправимого диагноза убивает сердце. Диагноз состоит из двух слов: «Я бездарен»...

Кто не писал стихов, никогда не поймет это состояние. Ты вдруг осознаешь, что вожделенный, прекрасный мир, где гениальные метафоры прыгают, как райские птицы, с одной стихотворной ветки на другую, для тебя закрыт навеки. Никогда, никогда, никогда ты не войдешь в этот поэтический эдем, не хлопнешь по плечу задумавшегося над строкой великого собрата и не спросишь: «Ну как, брат Пушкин?»...

После того, первого обсуждения я два дня пролежал на кровати, отвернувшись к стенке, не подходил к телефону и отказывался от пищи. Мои родители, не имевшие к литера-

туре никакого отношения, шепотом жалели о том, что их сын связался с этими чертовыми стихами. Впрочем, девушка по имени Наташа, несмотря на случившийся на ее глазах уни- зительный разгром, во мне не разочаровалась и вскоре стала моей женой, каковой и остается по сей день. Явление, надо сказать, довольно редкое в нашем многобрачном литератур- ном мире.

Обычно после таких зубодробительных обсуждений отсе- вивалась примерно половина начинающих поэтов. Но у тех, кто выдержал, пережил, поднялся, – в душе совершался ка- кой-то рывок, прорыв на некий иной уровень. Много позже я понял, что скачкообразное развитие литературного дара у пишущего человека случается именно в дни отчаянья и пре- зрения к себе, а не в дни озарений и всеобщего признания. Мне трудно объяснить, почему так происходит... Одно могу сказать уверенно: графоманы никогда не мучаются сомне- ниями и в отчаянье не жгут написанное. Они с усталым удо- вольствием потирают поясницу, встав от поэмы, написанной в том ясном душевном состоянии, которое напоминает отла- женное пищеварение.

Я пережил. Перемучился. И пошел. Дальше в литерату- ру. Вскоре Сикорского попросили дать в газету «Москов- ский комсомолец» стихи семинаристов. Он рекомендовал гордость нашего семинара Игоря Селезнева, а также Валерия Капралова и меня, выбрав стихотворение «Февраль». Это случилось в марте 1974 года.

О первая публикация! Она незабываема, как первая женщина! Тогда Москва была усеяна газетными стендами, чего теперь нет и в помине. Возле стендов всегда стояли люди. Странно – ведь газета стоила всего две копейки. Вроде бы купи – и не мучайся. Но нет: стояли и читали. Я шел по Москве, высматривая стенды «Московского комсомольца», и пристраивался рядышком с каким-нибудь углубившимся в газету гражданином в надежде, что он в этот миг упивается именно моими стихами.

Но граждане читали в основном про спорт...

Если ты пережил Великое Избиение Поэтического Младенца и не получил пожизненное отвращение к сочинительству, у тебя появлялся шанс стать настоящим стихотворцем. Я сознательно не употребляю слово «поэт», ибо это уже совершенно иная шкала измерений. Стихотворец – профессия, поэт – миссия. Впрочем, в быту эти слова частенько путают. Я, например, еще застал время, когда, заполняя анкету, в графе «профессия», нисколько не смущаясь, писали – «поэт». А в графе «место работы» – «Союз писателей». Стихами в ту пору можно было заработать на жизнь, особенно если ты занимался переводами с языков народов СССР. Точнее, не с языков, а с подстрочников. Это была настоящая индустрия, кормившая толпы столичных стихачей. Жизнь одного из таких переводчиков описана в моем рассказе «Пророк». Я только едва соприкоснулся с этим родом деятельности. Помню, однажды мучился над подстрочником молодого

казанского поэта, никак не мог подобрать рифму и, чтобы выкрутиться, приписал ему метафору, которой у него не было – про «девушку, что плавит лед пучком льняных волос». Вскоре получил восторженное письмо автора, звавшего меня и впредь не ограничиваться поверхностным прочтением подстрочника, а черпать образы из глубин первоисточника! Я уклонился...

Но многие не уклонялись – и случались казусы. Однажды известного среднеазиатского поэта, автора десятка книг на русском языке, выдвинули на Госпремию. Выдвинули, скорее, не за творчество, а за высокий пост. И вдруг выяснилось, что стихов на родном языке у него попросту нет – одни подстрочники, да и те, как оказалось, писал не он, а его секретарь. Вышел скандал. Но с другой стороны, в том, что крупному чиновнику хотелось прослыть именно поэтом, а не, допустим, экономистом, тоже был особый знак времени...

Но я снова отвлекся. Итак, следующий этап становления молодого поэта – вращение в редакционно-издательскую жизнь. Отчасти начинающий стихотворец уже сталкивался с этим странным миром, когда отправлял в редакцию первые свои стихи. Но это, так сказать, разведка боем, в котором он и получил первые литературные раны. Теперь же этот мир нужно было взять штурмом!

Когда впервые приходишь со стихами в издательство или журнал, на тебя смотрят как на нахала, среди ночи разбудившего весь дом да еще нагло попросившего напиток и пере-

ночевать. От тебя хотят отбояриться. Кому, спрашивается, нужна лишняя головная боль в виде твоей пухлой рукописи? Свое первое посещение издательства я запомнил очень хорошо. Это походило на спортивный поединок.

– Может быть, вам, молодой человек, лучше сначала показать стихи в каком-нибудь литобъединении? – дежурно посоветовал мне сотрудник редакции и снова углубился в рукопись, по-моему, свою собственную. На нем был кожаный пиджак, что свидетельствовало о его успехах на творческом поприще.

– Я занимаюсь в объединении при горкоме, – неуверенно ответил я.

– Это хорошо, – отозвался он с той интонацией, с какой обычно говорят «очень жаль».

1:0 в мою пользу. Я протянул папку со стихами.

– А знаете, ведь мы берем стихи только у тех, кто уже печатался! – он явно не торопился принять мою рукопись.

– Я печатался. В «Московском комсомольце».

– Ах, вот оно что... – на его лице мелькнула ревнивая тень: в МК пробиться было не так-то легко.

2:0 в мою пользу. Папка у него на столе, и он с неудовольствием развязывает тесемки.

– Ну, давайте посмотрим... А это еще что такое? У вас «слепые» экземпляры, а мы принимаем первые, в крайнем случае – вторые.

– А у меня только первое стихотворение «слепое», осталь-

ные нормальные. «Слепое» я могу забрать. Но оно про комсомол...

– Про комсомол? Серьезно? Ладно, оставьте...

3:0 в мою пользу. Матч выигран!

Рукопись принята и зарегистрирована. Теперь он от меня так просто не отвяжется. Будут, конечно, разгромные внутренние рецензии, требования доработок. Я стану вновь и вновь приходить к нему, приносить варианты, выслушивать критику, сначала чудовищную, позже – товарищескую. Однажды, к какому-нибудь празднику, я прихвачу с собой бутылочку коньяка, он достанет закуску, мы выпьем. Он разоткровенничается и поведаст про то, что выпустил недавно третью книжку стихов, а подлая критика его в упор не видит. Ему уже за сорок, а на творческих вечерах его продолжают объявлять «молодым поэтом». Он-то думал, покупка кожаного пиджака с огромной переплатой что-то изменит в его жизни. Оказалось, нет...

– У меня скоро внуки будут, а я все еще «молодой»... – горько вздохнет он. – Пушкина-то в тридцать семь уже... ну, понял...

– А Лермонтова, того и вообще в двадцать семь... – вздохну я, вспомнив о недавно отпразднованном своем двадцатипятилетию.

Года через два мы станем друзьями, и однажды совершенно буднично, мимоходом он скажет:

– Беги, Юра, в магазин! Сегодня тебя вставили в «тем-

план»...

А если твоя фамилия появилась даже в самом отдаленном «темплане» издательства – значит, ты не зря ходишь по этой земле, бормоча себе под нос стихотворную невнятицу. По моим наблюдениям, встречаются два основных типа заведующих отделом поэзии – суровый и ласковый. Суровым был, например, заведующий отделом поэзии издательства «Молодая гвардия» Вадим Кузнецов. В ту пору шевелюристый, буйно-бородатый, он смотрел на входящего в кабинет робкого сочинителя, сурово надломив бровь. И твоя душа, жалобно позванивая не востребованными рифмами, уходила в пятки, где и пребывала во время знакомства, не сулившего ничего хорошего. Но, как ни странно, с суровым можно было в конце концов договориться.

А вот если заведующий отделом поэзии источает ласку, медово улыбается и, не дай бог, называет вас «миленьким» или «лапочкой» – можно не сомневаться: ваши стихи он не напечатает никогда... Таким был Натан Злотников в «Юности». Прорваться сквозь его мертвую защиту можно было только с помощью главного редактора Андрея Дементьева, налетавшего в журнал словно добрый ураган и ставящий все на свои места.

В те годы существовала система, которую образно называли «взаимным опылением». Поэты, работавшие, скажем, в журнале, печатали поэтов, служащих, допустим, в издательствах. И наоборот. Такая вот круговая взаимопомощь.

Вступить в этот круг было непросто. Конечно, лучше всего – устроиться на хорошую литературно-издательскую работу. Но как? Нужно иметь связи, лучше – родственные. Правда, были возможны и другие способы проникновения в вожделенный круг. Один хромой молодой поэт, например, завел подружку в меховом ателье и буквально закидывал влиятельных писателей прекрасными ондатровыми шапками. В долгу они не оставались: стихи этого шапкозакидателя регулярно появлялись в печати. Я был поражен, обнаружив их даже в сборнике «Шедевры русской поэзии последней четверти XX века». Как же долго люди могут хранить признательность за качественный головной убор! Кстати, исчезновение в нашем Отечестве дефицита меховых изделий этот поэт не пережил, исчезнув из литературы навсегда. Другой поэт, бывший футболист, имел домик на крымском побережье, предоставлял его сильным поэтического мира и тоже возникал таким образом на страницах. Третий, начинающий драматург, для одного знаменитого театрального ленинописца организовывал у себя на квартире вечеринки с девушками. Тем и жил...

Тогда, конечно, казалось, что все это взаимное опыление, все эти мерзости околотрудового приспособленчества – органическое порождение «проклятого совка». Но сейчас, окидывая мысленным взглядом литературные просторы постсоветского Отечества, я снова убеждаюсь в том, что закон взаимного опыления не только не исчез, а окреп,

разветвился и даже приобрел глумливую рыночную открытость. И если в 70-е годы вхождение в литературу человеку без связей облегчала, как, скажем, мне, активная общественная работа, то с конца 80-х молодым поэтам помогало уже участие в андеграунде или даже диссидентство. В сущности, та же общественная работа, только с иным идеологическим знаком. Сколько неудачливых поэтов плакали по ночам, кляли себя за то, что не догадались, как Бродский, заблаговременно попасть под суд по статье «тунеядство» или, на худой конец, хотя бы застаться парочкой приводов в милицию, дабы воспользоваться репутацией борца с советской властью. С особым умилением я теперь слушаю по телевизору страшные рассказы рок-поэта Андрея Макаревича про то, как советская власть едва не сгноила его талант. О том, что «Машина времени» работала в основном на государственном горючем и комсомольской смазке, он как-то сказать забывает. Да и кому это теперь интересно?

Об организационно-бытовых хитростях, позволяющих побыстрее вскарабкаться на Парнас, можно говорить бесконечно. Но никого еще ни услуги, оказанные власти, ни борьба с ней, ни женитьба на дочке классика, ни срочная сексуальная переориентация, ни что-либо иное не сделали поэтом. Человека, даже чрезвычайно удачливого и предприимчивого, поэтом, извините за трюизм, могут сделать только стихи...

До армии, куда я отправился после окончания института, мне удавалось печататься только в «Московском комсомольце», где работал благоволивший ко мне (да, пожалуй, ко всем молодым литераторам) поэт и журналист Александр Аронов. Я тогда жил в Орехово-Борисове, на окраине Москвы, и мы были соседями. А еще поблизости обитал поэт и переводчик Григорий Кружков. Мы называли себя «Орехово-Борисовской школой». Кружков даже написал такие смешные стихи:

В Орехово-Борисово
 Не встретишь черта лысого.
 Зато там есть Аронов,
 Поэт для миллионов,
 Кружок его дружков,
 Дружок его Кружков...

Летом 1976 года вышла моя первая большая подборка стихов в «Московском комсомольце». Ее, как модно выражаться, пролоббировал все тот же Александр Аронов. Сначала предисловие планировали взять у главного редактора «Нового мира» Сергея Наровчатова. Бездомный, как Вийон, Юрий Влодов, изгнанный очередной женой, жил тогда в редакции и взялся устроить, ссылаясь на тесное знакомство с классиком, напутственное слово начинающему автору, то

есть мне. К выполнению обещания он приступил немедленно, сел за машинку и начал печатать: «На днях мне в руки попали стихи молодого талантливом москвича Юрия Полякова...» «А разве так можно?» – робко спросил я. «Да, так нельзя... – согласился Влодов. – Наровчатов так не напишет. Он небожитель. Он напишет вот так: «Днями мне в руки попала...» Вошел Аронов, узнал, что мы пишем предисловие Наровчатова и сообщил, что тот попал после запоя в больницу. Тогда решили попросить предисловие у Владимира Соколова, лидера «тихой лирики». Набравшись наглости, я позвонил, попросил, и он, к моему удивлению, согласился. Вскоре мы сидели на кухне его квартиры в Безбожном переулке, он диктовал, а я записывал. Чем-то я ему понравился. Но собираясь к нему, я робел и для храбрости захватил с собой двух друзей-медиков, а они бутылку казенного спирта, настоящего на лимонных корках. К вечеру домой вернулась жена поэта Марианна, она отругала мужа и разогнала пьяные посиделки. Объяснить ей, что собрались мы с уважительной целью – сочинить предисловие молодому дарованию, никто не смог: спирта было слишком много. Несмотря на этот конфуз, Владимир Николаевич дал потом предисловие и к моей первой книжке. Мы дружили до самой его смерти в 1997 году. Мне с товарищами выпало хоронить замечательного поэта, и я до сих пор помню, как мелкий снег падал на его мраморное лицо и не таял...

Незадолго до кончины Соколова я, как бы возвращая

долг, издал со своим предисловием последнюю его прижизненную книжку «Стихи Марианне». Жизнь любит опоясывающие рифмы...

В армии, несмотря на все трудности, я неожиданно расписался.

Давно замечено, что несвобода окрыляет. Я привез домой около ста стихотворений. Их охотно печатали журналы, подозреваю, прежде всего потому, что в редакциях был острый дефицит стихов об армии, проходивших по ведомству «советского патриотизма». Агитпроп, чуя надвигающийся кризис, жаждал от поэтов патриотического пафоса. Но что-то случилось, любовь к родине вышла из моды, обида на Отечество или презрение к нему становились признаком хорошего тона, продвинутости, как голодание по Брегу или воспитание детей по Споку. Кстати, я уходил в армию, страдая совершенно типичным для столичного студента недугом – насмешливой неприязнью к своей стране. Это был непреременный атрибут посвященности, вроде нынешней серьги в ухе гея. Из армии я вернулся другим. Помню, как посмеивались собратья-поэты над моими армейскими стихами, над их открытой патриотичностью. Да, после института мне нужно было попасть в Германию, хлебнуть армейской жизни, чтобы:

...подобреть душой,

Душой понять однажды утром сизым,

Что пишут слово «Родина» с большой
Не по орфографическим капризам...

Удивительно, как все-таки поэтическая интуиция опережает логическое осмысление жизни! Лишь много лет спустя, почитав книги умных людей и поработав собственными мозгами, я задумался о губительности болезненной неприязни к Отечеству, кстати, отчасти внушенной. Теперь, когда разработана теория «сетевых войн», это стало очевидным. «Злость» в отношении своей страны, заразив миллионы, ведет к глобальным катастрофам. Поэтическая логика подсказала мне, тогда еще совсем юному и неискушенному человеку, это странное и очень верное словосочетание – «подобреть душой».

После больших подборок, вышедших в 1977 году в «Юности», «Студенческом меридиане», «Молодой гвардии», я попал на Московское совещание молодых литераторов. Впрочем, это еще ничего не значило – в совещании участвовали десятки, даже сотни молодых. Где они теперь все? Бог весть... Не знаю, как сложилась бы моя литературная судьба, но в 1978 году я внезапно стал секретарем комсомольской организации Московского отделения Союза писателей. Была и такая, хотя средний возраст членов СП СССР в ту пору составлял примерно 67 лет. Почему старшие товарищи остановили выбор именно на мне? Полагаю, потому, что я, единственный из всех молодых литераторов, имел некото-

рый опыт райкомовской работы и вдобавок после употребления спиртных напитков в буфете ЦДЛ не буянил... Кстати, «комсомольский след» в моей литературной биографии с ехидством припоминают до сих пор. А вот об участии одного молодого поэта в групповом изнасиловании, которое шумно обсуждали в те годы, давным-давно позабыли. Странно, если задуматься...

Вскоре я стал работать корреспондентом в возрожденной газете «Московский литератор» под руководством одного из «смогистов» Александра Юдахина, человека по-своему могучего, талантливого, но непредсказуемого и неуправляемого, как «КамАЗ» со сломанной рулевой тягой. Потом ему на смену пришел Сергей Мнацаканян, поэт глубокой культуры, чрезвычайно помогший мне в годы литературного становления. Останься я работать в школе или в том же райкоме комсомола, конечно, моя первая книжка вышла бы гораздо позже. А так, спасибо комсомолу, – на закрытии VII Всесоюзного совещания мне вручили издательский договор. В 1980 году в «Молодой гвардии» в знаменитой серии «Молодые голоса» вышел мой первый сборник стихов «Время прибытия». Тонюсеньякая брошюрка на тетрадных скрепках. Тридцать страниц. Сорок два стихотворения.

Это сейчас наличие книжки ничего почти не значит, а тогда – в период жесткой регламентации печатной продукции – ты мгновенно превращался в совершенно особое существо. И даже если эта книжка была не толще двухкопеечной тет-

радки, ты переходил в иной разряд человечества. Теперь ты был Поэт-С-Книгой. И если на первом свидании ты дарил девушке свою книжку с дарственной надписью, это производило на нее такое же впечатление, как если бы сегодня ты достал из борсетки толстенную пачку долларов и предложил ей тут же, не заезжая домой, лететь на Канары...

Тираж моей первой книжки, кстати, был не маленький – 30 тысяч, а распространение было налажено так, что, прибыв как-то на Сахалин и зайдя в сельпо, я обнаружил там свой сборничек среди круп, спичек и банок консервов. Перебирал на полке книги и нашел рядом со сборником Анатолия Передреева мое «Время прибытия»... Да, стихи тогда еще читали, и я даже получил множество писем от поклонников. Начальство, самое высокое, тоже следило за поэтическим процессом. Помню один страшный скандал, потрясший без преувеличения всю отечественную словесность. «Московский литератор», выходявший мизерным по тем временам тиражом – две тысячи экземпляров, в 1979 году напечатал стихи Феликса Чуева, вроде бы совсем невинные:

Синее небо средь желтых берез,
Тонкий виток паутинки,
Алая память негаснущих роз,
Лето и стынь в поединке...
И никогда я к тебе не вернусь,
Не повторюсь, отгорю я
В жизни твоей. Так зеленую грусть

Солнце палит поцелуем.
Если бы в детстве во мне не погас
Редкостный дар непощенья,
Душу свою я б не мучил сейчас —
Цель, недостойную мщенья.
Если б тот редкостный дар не погас!..

И вдруг Юдахина вызвали в Главлит, к главному цензору страны! Вернулся он оттуда в ярости, переходящей в суицидальное отчаянье. Оказалось, невинная чувевская элегия на самом деле была дерзким политическим акростихом. Прочитайте первые буквы строчек сверху вниз. Получается: «Сталин в сердце». Вопросы есть? Скандал как-то замяли, но с тех пор, прежде чем подписать номер в печать, Юдахин сурово спрашивал:

– Акростиhi есть?

– Нет! – твердо отвечали мы, сотрудники, наученные горьким опытом.

Уверен, то же самое вплоть до перестройки делали все главные редакторы на бескрайних просторах нашего Отечества... А Чуев ходил героем и нисколько не пострадал. Да и в самом деле: как можно наказать человека за то, что у него Сталин в сердце?

Кстати, неприятная история с цензурой была и у меня. В 1981-м в издательстве «Современник» готовилась моя вторая книга «Разговор с другом», куда я включил стихи о человеке, которого в 1941-м расстреляли за невыполнение

«неправильного» приказа:

... Тут справедливости не требуй:
Война – не время рассуждать.
Не выполнить приказ нелепый
Страшнее, чем его отдать.
Но стоя у стены сарая,
Куда карать нас привели,
Я твердо знал, что умираю
Как честный сын своей земли...

Стихотворение цензура сняла прямо из верстки, редактору Александру Волобуеву объявили выговор, и он от огорчения слег с сердечным приступом, а книга вышла гораздо меньшим тиражом, нежели планировалось, что серьезно сказалось на размере гонорара. Меня тоже вызвали куда следует и пожурили. Но пожурили, как я заметил, с какой-то странной симпатией. Друзья-поэты подходили и поздравляли. Не каждого поэта цензура отмечает своим синим карандашом. Но соратники еще не знали, что в моем столе лежат уже написанные «Сто дней до приказа». Да, бодаться с советской идеологией становилось делом модным и, как показало время, перспективным... Об этом я думаю, проходя мимо чудовищного памятника виолончелисту Ростроповичу. Между тем памятника великому композитору Свиридову в Москве нет как нет. За что? Он же не бегал с автоматом по Москве в 91-м!

Я где-то читал, что великий физиолог Павлов даже из собственной кончины устроил научный эксперимент: диктовал свои предсмертные ощущения, а ученики тщательно записывали.

– Холодеют ноги... – говорил Павлов.

«Холодеют ноги», – записывали ученики.

– Умираю... – шептал Павлов.

«Умирает», – записывали ученики.

Будучи по образованию филологом и даже защитив кандидатскую диссертацию о фронтовой поэзии, я тоже имею некоторую склонность к научным наблюдениям и несколько раз пытался на собственном опыте проанализировать закономерности умирания поэта. Ведь все у меня шло хорошо и даже прекрасно. Выходили одна за другой поэтические книжки – всего четыре. Я широко печатался в периодике, выступал на радио и даже на телевидении. На литературных вечерах срывал аплодисменты. Получил за свои книги несколько литературных премий, в том числе премию Московского комсомола, что было по тем временам очень серьезно. Я был несомненным баловнем успеха. Для сравнения: за свои повести и романы (а в прозе, думаю, читатель согласится, мне удалось сделать несравненно больше, нежели в поэзии) я на сегодняшний день получил поощрений ку-

да как меньше... Исключение составляет повесть «ЧП районного масштаба». Но премия Ленинского комсомола, присужденная за эту вещь, относится скорее к политике, нежели к литературе.

Кроме того, стихи меня кормили. Я получал гонорары за публикации, но что еще серьезнее – подружился с Всесоюзным бюро пропаганды художественной литературы. Великая была организация! Могла тебя откомандировать для творческих встреч с трудящимися в любой уголок Отечества – хоть на Алтай, хоть на Сахалин, хоть в ныне суверенную до неузнаваемости Эстонию... Выступив перед читателями, ты должен был отметить в местном особую путевку. За выступление полагалось 15 рублей. Деньги предприятия и организации охотно перечисляли из так называемых фондов «соцкультбыта». Понятное дело, в дальние края меня отправляли не с одной путевкой. Прибыв на место, я обычно шел к местному партийному начальству, которое, сделав несколько строгих директивных звонков, направляло меня в массы. Не могу сказать, что, к примеру, председатель колхоза, увидав в своем кабинете столичного поэта, подпрыгивал от радости.

– Сколько нужно организовать выступлений? – хмуро спрашивал он.

– Десять, – скромно отвечал я.

– Десять? Они там с ума сошли! У меня же уборочная! И дороги развезло... На тракторе тащить надо! Нет, вы пой-

мите правильно, товарищ поэт, стихи мы здесь любим. Я вот «Василия Теркина» уважаю. Но ведь уборочная...

– Я понимаю.

– Что же делать? Что? – Председатель нервно мерил кабинет шагами.

И он и я прекрасно знали, что нужно делать, но выжидали, приглядываясь друг к другу, ибо для нарушения финансовой дисциплины требовалось единодушие, переходящее в сговор.

– Послушайте! – вдруг, словно пораженный неожиданной мыслью, восклицал председатель. – Давайте так... Вы выступаете в центральной усадьбе – в бухгалтерии и библиотеке. А на остальных путевках я вам штампы поставлю. Из любви к литературе. Идет?

– Вообще-то не положено, – розовея от радости, отвечал я, ибо объезжать на тракторе подразделения колхоза мне тоже не очень-то хотелось.

– Сам знаю: не положено, – почти уже просил меня председатель. – Но ведь уборочная и дороги развезло...

– Ну ладно... – поколебавшись для вида, соглашался я. – Мы тоже в Москве понимаем. Уборочная... Закрома родины...

– Ну и прекрасно! – широко улыбался председатель и наклонялся к селектору. – Дуся? Гони вместо обеда бухгалтерию в актовый зал. Поэт из Москвы приехал... Как фамилия?

– Поляков, – подсказывал я.

– Куликов. Очень известный поэт!

Справедливости ради надо сказать, что встречи, организованные таким вот необычным способом, проходили всегда очень тепло. Читал я любовную лирику, и меня, как правило, долго не отпускали, кроме обеденного перерыва прихватывая еще рабочее время. Я повторял на «бис» понравившиеся людям строчки:

И если мы любовь уже не ценим
За красоту, как небо и цветы,
Попробуем беречь хотя бы в целях
Охраны окружающей среды...

Никогда не было и не будет, наверное, более благодарных слушателей стихов, чем женщины из российской глубинки. Они, несмотря на свою трудную и довольно однообразную жизнь (а может быть, именно благодаря этому), обладают чрезвычайно высокой душевной культурой и особой чуткостью к слову. Поэт просто обязан постоянно проверять себя чтением стихов, скажем, в районной библиотеке. Если люди, собравшиеся там, не воспринимают твои стихи, не соперничают им, значит, делаешь что-то не то. Поверьте, я не заигрываю с «рядовым читателем», просто утверждаю: стихи, оставляющие эмоционально-равнодушными «нефилологическую» публику, – не поэзия. Возможно, это какой-то другой, весьма уважаемый и перспективный вид интеллек-

туальной игры, в которой тоже используются размер, рифмы, тропы... Но поэзия – это то, от чего загораются глаза и холодеет под ложечкой у грустной бухгалтерши, пришедшей вместо обеда послушать залетного стихотворца. Советская эпоха дала не только несколько поколений прекрасных поэтов, она воспитала несколько поколений замечательных читателей и слушателей поэзии. Увы, и те, и другие уходят, исчезают – незаметно, но неумолимо. Хотя иногда их еще можно встретить в самом неожиданном месте...

В 2005 году мы с Евгением Евтушенко дожидались своей очереди к начальнику земельного комитета Ленинского района Московской области. В эту уважаемую организацию нас привели переделкинские заморочки. Если москвичей испортил квартирный вопрос, то писателей – дачный. Мы сидели в коридоре, и Евгений Александрович буквально страдал оттого, что никто из просителей, уткнувшись в бумагу, не узнает и не замечает его, всенародного. Отчаявшись, он наклонился к девушке, строчившей рядом заявление, и спросил с интимной игривостью:

– Голубушка, назовите мне выдающегося русского поэта, родившегося на станции Зима!

Она нехотя оторвалась от писанины, глянула на пожилого приставалу, как на расконвоированного сумасшедшего, и сурово попросила не отвлекать ее от дела глупыми вопросами. Автор «Братской ГЭС» скукожился, как мумия, и повернулся ко мне. На его лице был ужас человека, заглянувшего

в мертвецкую.

– Юра, ну зачем я прилетаю сюда два раза в год?! – воскликнул он с геморроидальным отчаяньем. – Эта страна мертва! Духовная пустыня! Конец... Понимаете?

Я кивнул, учитывая его заслуги перед поэзией, и промолчал. Мне-то было понятно совсем другое: не может русский поэт безнаказанно оставить по собственному желанию Родину в самые сложные времена, пятнадцать лет жить в Америке, а потом обижаться на свое Отечество за невнимание...

– Нет! Никогда ноги моей больше здесь не будет! – закончил счеты с неблагоприятной страной Евтушенко, померк и отвернулся к окну.

В этот момент начальственная дверь отворилась, и оттуда вышла немолодая женщина с подписанной бумажкой в благодарных руках. Она, думая о чем-то своем, может, о побелке и купоросе, машинально окинула нас занятым взглядом и вдруг вскрикнула, потрясенная:

– Нет... Не может быть... Евгений Александрович, это вы?

– Я... – сознался, оживая, Евтушенко.

– Можно я вас потрогаю!

– Можно!

Получив разрешение, она бросилась ему на шею с почти чувственным стоном, крепко обняла, оторвалась, отстранилась, вглядываясь в любимые черты, и прочитала наизусть «Любимая, спи!». Потом снова жарко обняла:

– Вы... Вы просто не знаете, кто вы для нас! Господи, теперь и умереть можно... – всплакнула и сквозь слезы прочитала «Хотят ли русские войны...».

Они еще долго обнимались, вспоминая вечера в Политехническом, родную Сибирь... Когда же поклонница наконец ушла, вся в счастливых слезах, Евтушенко обернулся ко мне и, светясь, произнес:

– Нет, Юра, с этой страной еще не все кончено! У России есть шанс!

...Но вернемся к моей поэтической судьбе. Можно сказать, на взлете я вдруг перестал быть поэтом. Но, не сразу... Это похоже на угасание любви. Очевидно, за поэзию и любовь отвечают в нас какие-то очень схожие пептиды. Сегодня вдруг ты заметил, что у твоей единственной женщины широковаты щиколотки. Конечно, ничего страшного, а все-таки... Через несколько дней ты вдруг обращаешь внимание на то, что она слишком громко смеется. Нет, не вульгарно, просто громко. Но все же... Еще через неделю, когда неожиданно сорвалось ваше свидание, ты чувствуешь, конечно, досаду, но впервые с легким привкусом облегчения. Едва заметным, а тем не менее... Наконец, во время плотского слияния, которое еще недавно было для тебя пьянящим смыслом и назначением всей жизни, ты неожиданно видишь ваши объятия как бы со стороны, ощущая себя участником странных состязаний по межполовой классической борьбе... Далее расставание с женщиной – вопрос времени и порядочно-

сти.

Примерно то же самое происходит, когда из души уходит поэзия. В один прекрасный день ты понимаешь, что можешь жить и без стихов. Вчера не мог, а сегодня можешь. Нет, ты, конечно, еще способен их сочинять, и в немалом количестве, благо рука набита – можешь зарифмовать телефонный справочник. Но теперешние, вымученные строчки от прежних, настоящих, отличаются так же, как искусно выполненный восковой муляж от подлинной ароматной антоновки, тронутой крапчатой осенней желтизной. И главное: если прежде стихи были отрадой для души и мукой для разума, то теперь как раз наоборот – они стали мукой для души и отрадой для разума, изощренного в рифмах и тропах. Тебе становится ясно: невозможно, охладев, заставить себя писать настоящие стихи, как невозможно заставить себя любить постылую женщину. Можно старательно изображать эту любовь, плодить детей, выполнять семейные обязанности... Но любить?! Любить нелюбимую – пытка.

Я не стал длить пытку и сделался прозаиком, о чем не жалею. К тому же на дне души самого завалящего прозаика всегда отыщутся обломки поэта. Надеюсь, читатели моих повестей и романов это заметили...

Таковыми словами в 2001 году я закончил мои заметки про то, как был поэтом, и поместил их в первую книгу четырехтомного собрания сочинений. Прошло много лет. Я стал осторожнее относиться к хлестким, эффектным, но не совсем достоверным фразам. Надо сознаться, став прозаиком, я все-таки не раз обращался к стихам. Нет, в то особое состояние, когда весь мир – лишь повод для точного сравнения или метафоры, окатывающей, как шайка ледяной воды, вернуться мне не удавалось. Но я тосковал по временам, когда удачная аллитерация, рожденная в трамвайной скуке, оправдывала прожитый день. Не случайно в моих драматических и прозаических сочинениях среди персонажей часто встречаются поэты. В пьесе «Одноклассница» спившийся пиит Федя Строчков читает мое юношеское стихотворение «Дразнилки, ссоры, синяки, крапива...», в свое время ценимое соратниками. Герой романа «Замыслил я побег...» Башмаков посещает литературное объединение, очень похожее на то, в которое ходил я сам. А в «Гипсовом трубаче» стихи стали важной частью романной ткани. Кто-то из критиков даже упрекнул меня в том, что я не соорудил из вязниковской учительницы Ангелины Грешко лихую литературную мистификацию, вроде легендарной Черубины де Габриак. Ну чем не новое направление, скажем, «неоархаизм»:

Готический камин огнем ярится.
Доспехи наспех свалены в углу.
Голубоглазый странствующий рыцарь
В мой замок постучал и зван к столу...

Но я ответил критику, что любые мистификации бессмысленны, когда вся нынешняя поэзия, по сути, и есть сплошная горластая мистификация. Впрочем, стихи мне довелось сочинять не только для героев моей прозы. В начале 90-х, взбешенный тем, что происходило в Отечестве, я разразился политическими эпиграммами, частично опубликованными в оппозиционной прессе. Меня в те годы потряс сарказм глумливой Истории, которая творит тектонические перемены в обществе с помощью ничтожных и смехотворных людей.

Знать, мы прогневили всевышнего.
Нет продыху от стервецов.
Все Минина ждали из Нижнего,
А выполз какой-то Немцов...

Впрочем, если читатель полагает, будто теперь, попав в «кремлевский писательский пул», я доволен всем, что происходит в Отечестве, он глубоко ошибается. Писатель не имеет права быть в оппозиции к государственности, а вот в оппозиции к власти он обязан быть по природе выбранной профессии. Поручкой тому мои «Стансы» (2011):

Как же ты, страна, такую стала?
Где стихи? Кругом один центон!
Всюду вышибалы да менялы
Да зубастый офисный планктон.

Вместо субмарин – буржуев яхты.
Вместо танков – «меринов» стада.
Где рекорды, доблестные вахты?
Где герои честного труда?

Где самоотвержцы, что готовы,
Русь храня, остаться неглиже?
Где Пожарский? Вместо Третьякова
Вексельберг с яйцом от Фаберже!..

Конечно, случались у меня и лирические рецидивы, правда, краткие, не такие жаркие и плодотворные, как прежде. Для лирики необходимо особое состояние, которое можно сравнить с отпускной беспечностью, словно ты гуляешь сам по себе в весеннем парке. А вот на лавочке – милая девушка с книгой, явно ей не интересной. Подсяду-ка, а вдруг... Из этого «вдруг» и получают стихи. Но когда ты тащишь в одной руке баул новой пьесы, в другой у тебя чемодан-эпопея с оторванной ручкой, а за спиной – пудовый рюкзак «Литературной газеты» – тогда тебе, болезному, не до девушек. Даже если на парковой лавочке раскинется призывно обнаженная юница, ты вряд ли остановишься: сил не хватит. Впрочем,

все и всегда свою творческую бесплодность объясняют занятостью, и никто – размягчением таланта.

Но иногда именно погруженность в трудоемкие жанры вдруг толкает бывшего поэта к стихам. Так, сочиняя пьесу «Как боги», где у меня действует древний китаец, я для достоверности погрузился в классическую поэзию Поднебесной и внезапно разразился странным циклом «Не в рифму»:

Мелькнула женщина за облетевшей сливой.
Звук флейты яшмовой затих на берегу.
Туман над озером горчит, как дым пожара.
Грустна любовь в эпоху перемен...

И вот что любопытно: последняя строчка дала название моему новому роману «Любовь в эпоху перемен». Стихи помогли прозе. Так что все еще может случиться. Бывших поэтов, как и бывших разведчиков, не бывает. Кстати, давно замечено, к старости многие, даже вроде бы совсем списанные на прозаический берег стихотворцы переживают творческий ренессанс, поражая читателей удивительными вещами, вроде «Последней любви» почитаемого мной Николая Заболоцкого, которому в отличие от Бродского памятник так и не поставили. Возможно, и со мной случится нечто подобное. Кто знает? Подождем. Во всяком случае, встречать старость с надеждой куда приятней, чем с валидолом.

2001, 2014 гг.

Стихотворения

Из книги «Время прибытия» (1980)

Открытие времени

Мальчик видит,
 как заходит солнце,
Сверстники растут,
 седеет мать,
Знает: это временем зовется.
Все так просто! Что здесь понимать?
Позже он поймет,
 он убедится:
В мире нет энергии сильнее
Той,
 что в ходе времени таится!
...И душа работает над ней.

Она кричала о врагах,
О наших танках,
О голоде и о станках,
О спекулянтах,
О том, что вот она верна,
И про «овчарок».
В ее глазах была война —
Свечной оплавленный огарок.
Закон ей в этом не мешал,
Она еще кричала что-то.
Вокруг был мир, кругом лежал
Снег цвета довоенных фото.

Стихи о невоевавшем отце

Моим родителям

А мой отец не побывал на фронте.
Сказал майор,
взглянув на пацана:
– Вот через год,
когда вы... подрастете... —
А через год
закончилась война.
А через год
уже цеха гудели.
И мой отец не пожалел трудов,

Чтоб на российском,

выдюжевшем теле

Белели шрамы новых городов.

Но мирные заботы уравниали

Хлебнувших

и не видевших огня,

И в нашем общежитии

в медали

Своих отцов

играла ребягня.

На слезные расспросы

про награды

Отец читал мне что-то из газет.

– Не приведи!

Но если будет надо,

Заслужим,

а пока медалей нет! —

Я горевал.

А в переулке сонном

Азартно гомонил ребячий бой,

Но вяло

покоем, миром,

словно

Невыдохшейся майскою листвою.

И мне,

над кашей бдевшему уныло

(Пока не съем —

к ребятам не пойду!),

Все реже,

реже мама говорила:
– Эх, нам в войну
 такую бы еду! —
...Тянулись дни,
 и годы пролетали,
И каждый очень много умещал.
И я забыл,
 взрослея,
 про медали,
Да и отец уже не обещал.
Но каждый раз,
 услышав медный голос
(Наверно, доля наша такова!),
Отец встает.
 Но речь опять про космос
За холодящим —
 «ГОВОРИТ МОСКВА...».

Январские каникулы

Что за погода, черт возьми!
Апрелем пахнет воздух.
Весны смешенье и зимы
В непостижимых дозах.
Капель о тротуар стучит,
А завтра стужа будет.
И бабушка моя ворчит:

«Вот ноне так и люди...»

* * *

...Я маленький и бесконечно рад,
Гоня ледышку по проезжей части.
Я счастлив тем, что пахнет снегопад
Таким душистым, неизбывным счастьем.
...Я взрослый, грустивший человек.
Шагаю, отягчен служебным долгом,
И чувствую, как детством пахнет снег,
Пусть этот запах будет долгим-долгим.

* * *

И каждый взрослый шаг
Меняет что-то в детстве:
Все так же и не так
В неизменном действе,
Содеяв невпопад
Не подлость – глупость просто,
Гляжу туда, назад,
Где я пониже ростом,
Где возникает вдруг

Один мальчишка скверный,
Плохой, неверный друг...
Такой ли уж неверный?

Стихи о первой любви

Дразнилки, ссоры, синяки, крапива.
Весна. Соседний двор. Идет война.
А в том дворе, убийственно красива,
Была в ту пору девочка одна.
Я жил, учебник не приоткрывая.
Ремень отцовский потерял покой.
Была граница – это мостовая,
Я вдоль бродил, но дальше ни ногой.
Пришла метель на смену летней пыли.
Велись слезопрелитные бои,
А во дворе у нас девчонки были,
Конечно, не такие, но свои.
В руках синица, и мало-помалу
Любовь пропала, где-то... к февралю.
И девочка-красавица пропала —
Квартиру, видно, дали журавлю!
Смешно сказать, через дорогу жили.
Я был труслив, она была горда.
Что нынче для меня дворы чужие?
Но есть пока чужие города...

1974

Года летят и тянутся минуты.
Ворочаясь бессонно до утра,
Я часто вспоминаю почему-то
Ту девочку с соседнего двора...

2014

Железнодорожное сравнение

Полюбить, словно высунуть голову
Из окошка летящего поезда:
Ветер город сдувает за городом
И косою проходится по лесу.
Но вдыхать этот воздух стремительный
Для души необычно и боязно...
Одинаково ль время прибытия
У любви и ревущего поезда?

На вокзале

Уже про отправление сказали,
Уже зажгли вдали зеленый глаз,
А мы с тобой стояли на вокзале,

сначала незначительный,
Пребудет все желанней и ясней...
Пройдут года.

И никакая женщина
Не сможет никогда сравниться с ней!

В армию

Обноски отцовы,
Затертый мешок вещевой.
Последнее слово
С улыбкой: «Останусь живой!»
А все-таки горько —
Стремительно, в шесть без пяти,
Бог знает насколько
Из теплого дома уйти.
Уйти спозаранку
И знать, что иначе нельзя,
Кусочек «гражданки»
С собою в мешке унося.
Мы ведаем смала
Про долг свой и Родину-мать.
Мой долг для начала —
С колонною в ногу шагать.

На плацу

...Взвод ногу пружинисто взводит
Удар глуховато-тяжел.
И мысли внезапно приходят
О совершенно чужом —
Ведь каждый за собранным взглядом
Безмерное что-то таит.
И думы шагающих рядом
П е р е к р ы в а ю т твои!

Полковые учения

Стреляют пулеметы холостыми,
А грозный взрыв – ненастоящий взрыв.
Мы под огнем,
 Но все придут живыми,
Ни капли крови так и не пролив.
Мы смело лезем прямо в гущу дыма,
Где выстрелы «противника» слышны.
...А может быть, мы все неуязвимы
За тех,
 что не пришли домой с войны?!

21 июня 1941 года. Сон

*Как я хотел вернуться в «до войны» –
Предупредить, кого убить должны.
Арсений Тарковский*

Сегодня я один за всех в ответе.

День до войны.

Как этот день хорош!

И знаю я один

на белом свете,

Что завтра белым свет не назовешь!

Что я могу

перед такой бедою?!

Могу – кричать, в парадные стучась.

– Спешите, люди, запасись едою

И завтрашнее сделайте сейчас!

Наверно, можно многое исправить,

Страну набатом загодя подняв!

Кто не умеет, научитесь плавать —

Ведь до Берлина столько переправ!

Внезапности не будет.

Это – много.

Но завтра ваш отец, любимый, муж

Уйдет в четырехлетнюю дорогу,

Длиною в двадцать миллионов душ.

И вот еще:

враг мощен и неистов... —

Но хмыкнет паренек

лет двадцати:

– Мы закидаем шапками фашистов,

Не дав границу даже перейти!.. —

А я про двадцать миллионов шапок,

Про все,

что завтра грянет,

промолчу.

Я так скажу:

– Фашист кичлив, но шаток —

Одна потеха русскому плечу...

Свадебная фотография

Она не выдержала и смеется,

В его плечо шутиливо упершись.

...Он через месяц станет добровольцем,

Его подхватит фронтовая жизнь.

Нахмурясь, чтобы не расхохотаться,

Он купчик обвенчавшийся. Точь-в-точь!

...Ей голодать, известий дожидаться,

Мечтать о нем, работать день и ночь.

Своей забаве безмятежно рады,

Они не могут заглянуть вперед.

...Он не вернется из-под Сталинграда.

Она в эвакуации умрет.

А если б знали, что судьба им прочит,

На что войною каждый обречен?!
...Она так заразительно хохочет,
Через мгновенье засмеется он.

Что случилось, братцы?!

Душа, как судорогой сведена,
Когда я думаю о тех солдатах наших,
Двадцать второго,
на рассвете,
павших
И даже не узнавших,
что – в о й н а!
И если есть какой-то мир иной,
Где тем погибшим суждено собраться,
Стоят они там смутною толпой
И вопрошают:
– Что случилось, братцы?!

* * *

Порой война теряется из вида:
Уже комдивы – нефронтовики.
И все ж у мира, как у инвалида,
Болят ладонь потерянной руки.

Возвращение

Значкам, погонам, лычкам
Отныне вышел срок.
И надо ж – по привычке
Рука под козырек
Взлетает...

Я ж вернулся!

Я в штатском. Что за вздор?
– Бывает! – улыбнулся
Молоденький майор.
Пора тревог полночных —
Армейская страда!
И как-то жаль «так точно»,
Смененное на «да».

Солдатский сон

Мне снится сон! Уже в который раз:
Осенняя листва в морозной пыли,
Приспело увольнение в запас,
Друзья ушли,
а про меня забыли!
Наверно, писарь – батальонный бог —

Меня не внес в какой-то главный список.
А «дембель» близок, бесконечно близок,
Как тот, из поговорки, локоток.
Я вновь шагаю по скрипучим лужам
На ужин
 строевым, плечо к плечу,
Смеется старшина: «Еще послужим!
А? Поляков?!»
 Киваю и молчу...

Слова

Была разлука из неодолимых,
Когда в былое верится едва,
Но я нежданно в письмах торопливых
Вдруг для своей любви нашел слова.
Рукой заледенелой на привале
Царапал: «Здравствуй...» – и валился спать,
Но там, где слезы раньше подступали,
Слова вдруг научились проступать.

Четвертое письмо

Три письма затерялись в пути.
Три тоски. Три страданья. Три воя.

Три нечеловечьих почти
Не услышаны были тобою.
Я писал, что терпеть не смогу
Эти непоправимые боли.
Три письма, как следы на снегу
В белом-белом, нетронутом поле.
А в четвертом спокойно и зло,
А в четвертом легко и устало
Я тебе сообщал: «Тяжело...»
Самым первым четвертое стало.
И когда обрывается свет,
Тяжесть кажется неодолимой,
Ставлю адрес, которого нет,
А потом уже имя любимой.

Женщина с упрямыми глазами

Такого можно не понять годами,
Но вдруг коснуться в озаренье лба!
Та женщина
 с упрямыми глазами,
Как говорили встарь, —
 моя судьба!
Ее улыбка – от печалей средство,
Ее слова – они хмельней вина!
Вот жизнь моя:
 сначала было детство,

За детством – юность,
а потом – она!
Конечно, счастье – это тоже тяжесть,
И потому чуть сгорбленный стою.
Не умер бы я, с ней не повстречавшись,
И жизнь бы прожил.
Только не свою!

Стихи об охране любви

Любовь рождается,
взрослеет,
умирает.
Есть у любви дитя —
любовь детей.
И каждый каждым шагом попирает
Невидимые скопища костей:
За сотни лет,
за сонмы поколений
Шел пласт на пласт,
на ряд ложился ряд.
И нижние уже окаменели,
Став углем, разжигающим закат.
Когда-нибудь, уверенно шагая
По трепетной весенней мостовой,
Почувствую,
что грудью раздвигаю

Третьяковская галерея

Портрет молодой женщины

Обычай светский нетерпимо строг:

Какое б горе сердце ни сжимало,

Будь мраморной,

дабы никто не смог

Понять, как ты, красавица, устала.

Взирай сквозь паутинку на холсте

Так,

чтобы не поведать поневоле

Мужчинам – о сокрытой наготы,

А женщинам – о потаенной боли.

Будь существом недостижимых сфер.

Пусть очи твои сравнивают с бездной...

А в них всего лишь

статный офицер,

Такой желанный и такой бесчестный!

...Но что мне до услужливой молвы,

Когда твой взгляд смиряет в сердце смуту.

А тот жуир – в запаснике.

Увы!

Он зрителям не нужен почему-то.

Влюбленные

Гуляют двое, обнявшись, по скверу.
И все глядят на них, разинув рты:
Он Квазимодо, а она Венера...
За что ж такому столько красоты?
Но кто судья душе, ее глубинам?!
И понимают, паре глядя вслед:
Когда влюблен, весь белый свет в любимом.
А разве не прекрасен белый свет?

В северном городе

Небо словно тяжелые своды,
А со сводов сочится вода.
Вот сюда в баснословные годы
Не смогла дотянуться орда.
Не домчалась кровавая туча.
И врагу, и соседу назло
Град остался живым и могучим —
Так в ту пору немногим везло.
Время годы, как волны, катило.
Город рос, куполами блистал,
Красоты набирался и силы —
Чуть столицей российской не стал.

Но чего-то ему не достало:
Иль казна оказалась слаба,
Может, просто была не судьба,
То ли крови за Русь пролил мало...

Пожилая библиотекаряша

Простое платье и лицо простое.
Цвет беглых глаз как будто голубой.
Она нехороша.

Некрасотою

Всех женщин с несложившейся судьбой.
Струятся дни, ее обиды студят.
Их описать – всего одна строка.
А вон они, обугленные судьбы,
Рядами с пола и до потолка!
Да есть ли хоть одно движенье духа,
Которое б художник не постиг?
Еще немного – и она старуха.
Об этом тоже очень много книг.
Они на все, они на все ответят,
Над прошлым с нею будут причитать...
Зачем же так несчастно жить на свете,
Когда про это можно прочитать?

Старый декабрист

«...Когда-нибудь потомки все исправят:
Сорвут оковы и растопчут кнут,
И юношей замученных восславят —
Убийц, почивших в бозе, проклянут!
И будут, верю я, в грядущем веке
Чисты и зорки взгляды у людей:
Вспомнянется несчастный Кюхельбекер,
Осмеян будет мерзостный Фаддей.
О новый век! Он будет безупречен.
На все ответит острый ум людской:
Зачем мы ждали гибельной картечи
И почему нас предал Трубецкой?
Как шахматы, без гнева и без пыла —
Всех нас расставят хладные умы...
Когда бы так же на Сенатской было,
Господь свидетель, победили б мы!»

Дуэль

Всему черед. И мщение настало.
Свет, словно снег, спускается с небес.
Сейчас они сойдутся по сигналу —
И не успеет выстрелить Дантес...

Не зря ж поэт мечтал служить гусаром!
И у барьера Пушкин не впервой!
Он подведет черту обидам старым —
За всех француз ответит головой.
Он им покажет – этой светской дряни, —
Как жжет сердца губительный свинец.
И д'Аршиак склонится к страшной ране
И, содрогнувшись, выдохнет: «Конец!»
Потом... Монарший гнев, череда гонений,
Смятение в сердце, ропот за спиной,
Но главное: он жил бы, русский гений,
Любил, писал...

Пускай такой ценой!

А мы бы знали, понимали с детства,
Что Пушкин прав...

А что бы мыслил он,
Обмолвившийся: «Гений и злодейство —
Две вещи несовместные...»

Прогулка по Москве

Я ищу девятнадцатый век
В подворотнях,
Как неярким апрелем припрятанный снег
От лучей посторонних.
Старый дом. В нем уже не зажжется окно:
Новоселье – поминки.

Мне шагать через век – от Бородино
До Ходынки.
Есть в модерне какой-то предсмертный надлом...
Переулки кривые.
Революция за поворотом. Потом
Сороковые.
Где-то рядом автомобили трубят
И дрожит мостовая.
Мне в глаза ударяет высокий Арбат.
Я глаза закрываю.

Заводское общежитие

В заводском общежитии
жили крикливо и тесно,
Но зато как-то просто
и, я бы сказал, налегке.
Это был особняк,
очень дряхлый и неинтересный:
Старина ничего
не оставила в особняке.
Разве только сквозняк,
вероятно из старорежимных,
В коридорной системе
никак разобраться не мог,
Он выискивал запахи
давних времен

и кружил их...

А еще были в доме

паркет и лепной потолок,

Украшавшие прежде

чудесную бальную залу,

Что, к несчастью, была,

как жилищный вопрос, велика.

И ее поделили

так, чтоб каждой семье выпадало

Понемногу паркета старинного и потолка.

А потом все забылось.

Жильцы и не подозревали

Среди дымной стряпни,

беготни,

подметанья полов,

Что живут так обычно,

так непритязательно в зале,

Где давался, быть может,

один из последних балов.

Это выяснил я!

И, ужасно взволнованный этим,

Отложил на потом

все другие ребячьи дела,

И в течение дня,

до чертей надоевши соседям,

Разузнал, что за чудо

пропавшая зала была!

...В эту ночь мне приснился

какой-то блестящий военный,

На кого-то похожий

(но только лица нет на нем),

Он метался по комнате,

бился в фанерные стены,

И его эполеты

горели недобрым огнем.

А в потерянной зале,

за тонкой стеною невидим,

Замечательный бал:

звуки музыки, светская речь.

И несчастный военный,

на волю отчаявшись выйти,

Принимается саблей

преграду фанерную сечь.

Только стены стояли,

хотя от ударов трещали...

– Мальчик! Где же здесь выход?

(Сует мне в карманы рубли.)

Ах, княжна, так нельзя!

Пощадите!

Вы мне обещали:

Ведь мазурка моя!

Вы смеялись...

О, как вы могли?! —

Но ни слова в ответ.

Или он не расслышал ответа

Среди звуков мазурки.

Внезапно кончается бал.

Поцелуи, прощанья.

– Такому-то князю – карету! —
И со стоном «уехала!»
Странный военный пропал.
...Поутру я проснулся
в глубокой, недетской печали.
Чем-то вкусным тянуло
(наверное, был выходной).
В коридоре ходили.
Друзья за окошком кричали.
Мама нежно пыталась,
что нынче такое со мной.

Девятнадцатый год (на полях учебника истории)

Клинки со свистом резали эпоху.
Стояло завтра на повестке дня.
Кроился мир на «хорошо» и «плохо»,
Чтоб самым лучшим наделить меня.
И веря в Маркса, как недавно в бога,
Красноармейцы брали города.
Опять тревога, но совсем немного
До счастья и свободного труда.
Отряд уходит: песня глуше, глуше...
Отбитый город в кумаче хорош!
Горели души и чадили души.
А души, их атакой не возьмешь.

Был (час езды от Курского вокзала)
Известный лишь немногим водоем,
В котором потрясающе клевало.
И наступал счастливейший из дней
И я стоял дозорным при уловах,
И до смерти боялся окуней,
Огромных, неестественно лиловых.
Когда мы наш улов несли домой,
Прохожие с расспросами совались.
А дед с отцом рядили меж собой
О рыбинах, которые сорвались.
О! Были удивительно вкусны
Уловы те. От памяти немею...
А после про рыбалку снились сны
Такие,

что куда Хемингуэю!

Но так бывало только раз в году,
В конце весны.

От мая и до мая

Я ждал, не понимая, что расту,
Как до сих пор еще не понимаю.
...И по чему судить, что мы растем?
По счету дней, иль памяти бывшего,
Иль по тому, что умер водоем,
А дед уже не принесет улова?

Оттого
Им трудно бывает заметить.
Заметить тебя,
одного...

Осенние пруды

Раз в год, в преддверье холодов,
Отводят воду из прудов.
И вот открыта память дна,
Душа пруда обнажена!
Дно вычистят. И лишь тогда
Сюда опять придет вода.
Младенческую память дна
Укроет мутная волна.
...А я бы не прожил и дня,
Когда б хоть раз вот так меня!

Попытка к славословию

Очень хочется петь о России,
Будто светлая тягость во мне!
Много пели, но можно красивей.
Как весомы слова в тишине!
Вот и я начинаю: «Россия...»

Но едва первый звук раздался,

Обступают

иные по силе

Голоса. Голоса. Голоса.

И они горячее и выше

И, наверно, звучат искони.

Я меж ними свой голос не слышу

Ни к чему он,

когда есть они!

Я замолк и уже не посмею...

Здесь важнее молчание,

ведь

В этом случае слушать честнее

И весомее, нежели петь...

Памяти знакомого

Я разбираю прожитую жизнь.

Чужой судьбы распутываю нити:

Вот здесь он посмелее окажись —

И все могло совсем иначе выйти.

И все б сложилось ярче и стройней,

Не увлекись он целями пустыми,

Не познакомься в одночасье с ней

И не рассорься ненароком с ними.

Здесь помешал какой-нибудь пустяк,

Там средь друзей запрятавшийся недруг.

А это вот задумано не так.
А это вот исполнено не эдак.
Чужая жизнь! Какая суета!
Как скроено и сшито неумело!
А жизнь моя, она не прожита
И потому логична до предела.

Зачем вы пишете стихи?

– Зачем вы пишете стихи?
Вы что же думаете,
 строки
Способны исцелять пороки
И даже исправлять грехи?
Зачем вы пишете стихи?
Ну, хоть один
 от ваших виршей
Стал добродетельней и выше?
Скажите прямо,
 не тая.
– Один?
 Конечно!
 Это я...

Из книги «Разговор с другом» (1981)

* * *

Апрельские снега...

Апрельские метели

Опять леса накрыл тяжелый снегопад.

И это —

после птичьих трелей и капели,

Как будто времена попятились назад.

Но я везуч!

И здесь мне подфартило тоже.

И я возврат зимы

приветствовать готов:

Когда-нибудь скажу,

судьбу свою итожа,

Что весен было

больше, чем годов!

Ответ фронтовику

Не обожженные сороковыми,

Сердцами вросшие в тишину,

Куда вернуться я уже не в силе.
Ну вот и оглядел свой старый дом,
Где так легко дружилось и мечталось,
Ну вот и убедил себя,

что в нем

Уж ничего от детства не осталось...
Спасибо, жизнь, за то, что ты добра!
За новизну, за нужные утраты,
За то, что все вокруг не как вчера...
Так легче понимать,
что нет возврата!

Из дневника рядового

На Родине другие небеса!
Двадцатый век!

Ты этому виною,
Что можно за неполных три часа
Перенестись туда, где все иное!
И обменять российскую метель
На мелкий дождь,
что над землею виснет.

Привычную одежду – на шинель,
А женщину любимую – на письма.
И как-то сразу подобрать душой.
Душой понять
однажды утром сизым,

Но твердо говоривший слово «долг»...
А чай дымился облаком горячим,
Туманно оседая на стекле... —
Со злом, сынок, не раз еще поплачем:
Уж больно много добрых на земле!

Непережитое Лирический цикл

*Посвящается светлой памяти моего деда
Младшего лейтенанта Ильи Бурминова,
погибшего летом 1941 года*

Разговор с другом

Друг сказал однажды мне
Как-то сухо очень:
«Что ты пишешь о войне?
Ты ж неправомочен!
Ведь когда чернела высь,
Твердь когда алела,
Мы еще не родились —
Так судьба велела.
Как же можно – просто так —
О кровавой доле,
О неистовстве атак,

О смертельной боли?!
Что за странный перегиб?
Ты подумай здраво...»

– Правомочен, кто погиб —
Я пишу без права.

Мой фронтовик

До фронта не доехал он,
Дорогой не прошел победной.
Взлетел на воздух эшелон —
И стал воспоминаньем
 дед мой.

Вот он стоит передо мной —
Русоволосый, сероглазый
Солдат,
 шагнувший в мир иной,
Так и не выстрелив ни разу...
Война!

Ты очень далека.
Но вечно близок
 День Победы!
И в этот день я пью за деда —
За моего фронтовика!

Бабушка

Включаю телевизор:

танки, грохот,

Врага под корень режет пулемет...

А бабушка моя тревожно вздрогнет,

Вязанье сложит,

в кухню перейдет,

На всю квартиру —

крики, рев орудий...

– Куда же ты?

– Да мочи, милый, нет.

– Так это ж – немцев!

– Тоже, внучек, люди...

В борьбе с фашистским зверем пал мой дед!

Ключи

На фронте не убили никого!

Война резка —

в словах не нужно резкости:

Все миллионы —

все до одного —

Пропали без вести.

Дед летом сорок первого пропал.

А может быть,

ошибся писарь где-то,
Ведь фронтовик безногий уверял:
Мол, в сорок пятом
 в Праге
 видел деда!
...Сосед приемник за полночь включит,
Сухая половица в доме скрипнет —
И бабушка моя
 проснется,
 вскрикнет
И успокоится: дед взял на фронт ключи...

Киногерой

На экране – круговерть,
Леденящие моменты,
Но ему не умереть:
Впереди еще пол-ленты!
Нужно милую обнять,
С крутизны фашиста скинуть,
Потому легко понять,
Что герой не может сгинуть.
Эта логика проста.
Но идет на пользу нервам.
В это верит даже та,
Чей герой пал
 в сорок первом.

Каждый год

*В городе Сланцы в братской могиле похоронен
поэт Г. Суворов.*

*Каждый год издалека в его день рождения на
могилу приезжает женщина с цветами...*

Говорят, что она каждый год приезжает сюда,
На могилу солдатскую, в городе этом неблизком,
И положит цветы, и стоит, вспоминая года,
Что лежат непробудно, как мертвые, под обелиском.

Говорят, что покоится тут молодой лейтенант,
Фронтая любовь, ослепившая сердце когда-то.
Он был весел и смел. Он имел неумный талант
И к стихам и к войне —
той, что не пощадила солдата.

Летней ночью в округе победно поют соловьи.
Зимней ночью метель дышит с болью, как наша эпоха.
Говорят, ничего нет на свете дороже любви,
А они ее отдали всю – до последнего вздоха.

Вдова

Она его не позабудет —
На эту память хватит сил.
Она до гроба помнить будет,
Как собирался,
 уходил,
Как похоронку получила
И не поверила сперва,
Как сердце к боли приучила,
Нашла утешные слова,
Что, мол, у жизни —
 тыща граней,
А нежность —
 разве это грех?
Но был погибших всех желанней,
Но павших был достойней всех.
И на года,
 что вместе были,
Она взирает снизу ввысь...
А уж ведь как недружно жили:
Война – не то бы разошлись.

У музейной витрины

Он погиб восемнадцати лет —
Затерялся в кровавых потемках.
Вот его комсомольский билет,
Изрешеченный, в бурых подтеках.

И когда они видели
 храбрые сны о Гражданской,
Говорили друзьям,
 что приснилось им детство и дом...
Этим людям,
 всей грудью
 хлебнувшим и горя, и гари,
Всем живущим по крови,
 по пролитой крови родным, —
Я внимаю с любовью,
 за землю мою благодарен,
Но я даже во сне —
 никогда —
 не завидую им!

Газета

Комплект газеты «Правда»
За сорок первый год.
Почины и парады:
«Дадим!»,
«Возьмем!»,
«Вперед!».
Ударники, герои,
Гул строек по стране...
Июнь.
 Двадцать второе.

Ни слова о войне.
Уже горит граница,
И кровь течет рекой.
Газетная страница
Еще хранит покой.
Уже легли утраты
На вечные веса.
Война достигнет завтра
Газетной полосы.
Мы выжили.
 Мы это
Умели испокон.
Мне свежую газету
Приносит почтальон...

Баллада о профессоре

Жил в «европах» профессор.
 Когда он встречал человека,
Убежденного в том,
 что война разразиться должна,
То сердился, кричал:
 «В середине двадцатого века —
Вы поймите – никак
 не возможна большая война!
Вы подумайте здраво:
 кругом крейсера, самолеты,

А игры тем и хороши,
Что жизнь в них познается!

* * *

Уходя из детства, оглянись!
Чистый воздух набери всей грудью.
Как бы дальше ни сложилась жизнь,
Лучше детства ничего не будет.
И не потому, что детворе
Не знакомы взрослые печали, —
Просто лучшей жизненной поре
Определено стоять в начале...

Двор

Давайте чаще думать о вчера —
Ведь мы вчера сегодняшними стали.
Из детского забытого двора
Ведут пути в немыслимые дали.
Двор маленький и нам уже в упор.
В таком от дружбы никуда не деться:
Обремененный шпагой «мушкетер»
Бросает вызов рыжему «индейцу».
Уже в игре возможно различить
И неучей, и будущих ученых:

Одна занозы пробует «лечить»,
Другой уже косится на девчонок.
Один всегда шатается без дел,
Второй чуть что – размазывает слезы,
А третий где-то что-то подглядел
И мелом на стене строчит доносы.
Уже есть правдолюбцы и лжецы,
Есть трусы, огражденные отцами,
Есть мальчик, сочиняющий концы
К историям с печальными концами...
И все с опаской смотрят за забор,
Где слышен гул автомобилей грозных,
Где строгий светофор глядит в упор
И где запрещено гулять без взрослых.
И невдомек смышленной детворе,
Что там все те же – радости, напасти
И что на роковой проезжей части
Законы те же, что и во дворе...

Детское впечатление

Христос ходил по водам, как по суше,
Хоть обладал такой же парой ног.
Мне десять лет – и я Христа не хуже,
Но по воде бы так пройти не смог.
Так значит, я – совсем не всемогущий?
И для меня есть слово «никогда»?!

Не может быть,
Наверное, погуще
Была вода в библейские года...

Фотография

Найдешь позабытое фото
Впервые за несколько лет,
А в мире прибавилось что-то,
Чего-то давно в мире нет...
На карточке: мамой ведомый,
Я чем-то обижен до слез —
На фоне старинного дома,
В котором родился и рос.
А рядом – чужому неведом,
Но виден и маме, и мне,
Отец мой с новехоньким «ФЭДом»
«Внимание!» крикнул извне...
С тех пор из бывшего маячит,
От глупой обиды поник,
Нахмуренный худенький мальчик —
Мой девятилетний двойник.

Друзья

Михаилу Петракову

Я давно не встречался
с друзьями мальчишеских лет.
Вечно занят делами,
ответственными и пустыми.
Но не в этом беда,
в том, что даже стремления нет,
Как бывало, смеяться,
тужить, разговаривать с ними.
Понимаешь, читатель,
все это гораздо грустней,
Чем простая хандра,
раздражение или усталость.
Видно, что-то плохое
в душе происходит моей,
Если к первым товарищам
в ней теплоты не осталось.

Учитель

Учитель мой, которого недавно
Я слушать был готов с раскрытым ртом.
Остался очень умным, очень славным,
Но говорить стал как-то не о том.
Его слова о прошлом, настоящем
Впивались в ум всего лишь год назад,
Теперь я замечаю, как все чаще

Они в прозрачном воздухе висят.
Учитель мой не видит за рассказом,
Как вьется к потолку словесный пух,
Как сквозняки рассеивают фразу,
Лишь он для новой переводит дух.
Учитель милый смотрит просветленно,
Как много дал он сердцу и уму,
Как просто с ним вскрывать судьбы законы,
Да жить по ним придется самому...

Про школу

И. А. Осокиной

Воспоминание первое: я – ученик

Учитель по доске стучит мелком,
Через плечо поглядывая строго,
А я смотрю – клопочет за окном
Внеклассный мир —
я жду конца урока.
Есть мир, что виден лишь из окон школ —
Огромный, многоцветный, многошумный.
Звенит звонок —
и все, что ты прошел,
С доски стирает в тишине дежурный...

Воспоминание второе: я – учитель

Я объясняю новый материал
(Контрольную на днях пришлет РОНО!),
Я говорил, а класс внимать устал.
А хмурый Кошкин смотрит за окно.
Я понимаю, знаю по себе, —
Что, может быть, вот именно сейчас
Он первый раз подумал о судьбе,
В душе перешагнув девятый класс,
И невзначай свою судьбу связал
С осенним ветром в городском лесу...
– Ну, Кошкин, повтори, что я сказал!
(Контрольная работа на носу!)

Старый друг

Я прохожего толкнул,
я извинился.
Присмотрелся повнимательней —
и вдруг...
Боже милостивый,
как он изменился,
Школьный мой товарищ,

старый друг!
Он стоит большой, черноволосый,
На себя тогдашнего похож,
Задаёт веселые вопросы
С присказкой своей:
 «Ну ты даешь!»
А в плечах —
 какая-то сутулость,
В голосе ребячливом —
 надлом...
Друг мой, друг,
 вот время и коснулось
Нас испепеляющим крылом.

Засвеченная пленка

Неполучившаяся пленка!
А где теперь они —
По неумелости влюбленных
Засвеченные дни?
Лес, обессилевший от охры,
Одними нами жил!
Развел руками друг-фотограф
И пленку отложил.
Тот лист, с шипением погасший,
В холодный пруд упав,
Теперь уже не настоящий.

Мой друг, конечно, прав!
Где выбиравший хвою ветер,
Как шпильки из травы?
Есть правота во всем на свете —
И мы с тобой правы.
Прав некто, засветивший пленку.
Никто не виноват.
На красных фотоснимках кленов
Запечатлен закат...

* * *

Мне кажется, я
 вырастаю из нашей любви,
Как детской порой
 вырастал из ребячьей одежды.
Все, впрочем, сложнее,
 но как это ни назови,
Душе не подходят
 былые мечты и надежды.
Так что же я медлю?
 Так что же тяну эту боль?!
Конечно, привычка...
 Но есть радикальные средства!
Да только потом
 не вернешься в былую любовь,
Как в детство свое.

... А я так торопился из детства!

Первая любовь

Ее, наверно, можно миновать,
Влюбившись сразу
вдумчиво и зрело,
И навсегда утратить
благодать
К ней возвращаться —
к первой, неумелой,
Загадочной, застенчивой, слепой,
Чтоб, испытав,
как счастье убывает,
И вспомнив удалое:
«Есть любовь!»
По-взрослому поправиться: «Бывает».

Этот дом

Нынче дом этот не интересен,
Потому что живущая в нем
Героиня «младенческих песен»
Не живет больше в сердце моем.
Незнакомке вослед просветленно
Погляжу...

Мир волнующе нов!
Это – юность. Начало сезона.
А в Москве – мириады домов!
Тыщи тел, тыщи лиц незнакомых,
Увлеченных своею судьбой.
Ухожу... Знаю, делаю промах,
Что так просто прощаюсь с тобой.
Радость жизни пока еще телом
Ощущаю...

Сомненья – под спуд!
...Светят окна в доме опустелом —
Дом старинный: его не снесут!

Младшему брату

Люби, брат, как получится,
Не думая о том,
Что из любви получится
И где твой будет дом.

Коль сразу две понравятся,
Влюбляйся сразу в двух.
Пусть многим не понравится,
Такой свободный дух!

Живи, мой брат, по-своему,
Ведь все, как ни кружись,

Устроит жизнь по-своему —
На то она и жизнь...

В карауле

Холодный сумрак у истоков лета.
И ветер от усердия осип.
Скрипучий лес.

Мне кажется, планета
Скрипит, вертясь вокруг своей оси.
У горизонта будто бы светает...
А может, небосводу ночь мала.
Ужели звезды кто-нибудь считает?
Все небо, словно крошево стекла.
Стараюсь думать о тебе,
о счастье...

Но все выходит как-то о тепле.
Холодный ветер мысли рвет на части
И клочья злобно гонит по земле.
Как будто на меня погода взъелась!
Пытаюсь тщетно
к ветру стать спиной.

— Стой! Кто идет? —

Нет, показалось...

Зрелость

Приходит не замеченная мной.

В артполку

Блиzkих залпов доносятся гулы.
Незнакомо строчит пулемет.
Рядом бой!

 Но развод караула
В гарнизоне спокойно идет.
Я вернусь в «караулку»,
 ладони
Подержу над огнем и засну.
...Очень любят у нас в гарнизоне
Кинофильмы крутить про войну!

Стихи о комвзводе

С армейским другом, пиво попивая,
Сидеть и разговаривать о том,
Что караулы, почта полевая,
Ученья, – все осталось за бортом.
Теперь в любую пору и погоду
В труде – отчасти, полностью – в гульбе
Подчинены с тобой мы не комвозводу,
Придирчивому,
 а самим себе!
Конечно, мы, товарищ, не бесхозны.
На подчиненье выстроен весь мир,

Но ведь начальник, даже самый грозный,
Он все-таки еще не командир!
И если наш покой пребудет прочен,
И если не пойдет разрядка вспять,
Нас по тревоге не поднимут ночью,
Чтобы под полной выкладкой гонять.
Но, помня все солдатские невзгоды,
Грущу я не о грохоте сапог...
А вот бы на «гражданку» мне комвзвода —
Я всюду бы успел, я все бы смог!

Строчные песни

Я вспоминаю строчные песни:
Ты можешь быть усталый и больной,
Но если приказали, то хоть тресни,
Скрипи зубами, но шагай и пой
О том, что ты всегда стоишь на страже,
О том, что номер почты полевой
Во сне твоя девчонка помнит даже,
О том, что горд солдатской судьбой!
И пусть давно уже хожу не в ногу,
И не ношу – почти – защитный цвет,
И даже начинаю понемногу
В поэзии торить свой скромный след,
И пусть меня журналы помещают,
А критики не рвутся запинать, —

Поэту никогда не помешает
Привычка – по команде запевать!

Письма

*Ты, Держащая море и сушу
Неподвижно тонкой рукой!*

А. Блок

Я как-то научился жить без писем,
Сам не пишу, да и не жду уже.
И от работы почты независим,
Живу с приятной легкостью в душе.
Но помню я себя совсем иного:
Пилотка, сапоги, ремень ПэШа...
В плену у почтальона полкового
Была моя солдатская душа.
Я на плацу шагал сквозь мокрый ветер,
Я выполнял команды комполка,
Но правила мной тонкая рука,
Чертившая мой адрес на конверте...

Письмо в северный город

Я уже много лет
собираюсь тебе написать —

Расспросить, как дела,
как устроилась жизнь
и так далее...

Рассказать о себе,
о работе своей...
Но опять

День проходит за днем —
и письмо ты получишь едва ли.

Помнишь красную осень,
от листьев сгорающих дым?

И какой-то щенок
увязался за нами вдогонку...

Он вертелся в ногах,
не давая остаться одним,

Как я злился тогда
на себя и на ту собачонку!

Это очень смешно.
Как бы мы хохотали с тобой,

Если были бы вместе.
Но вместе мы больше не будем.

Все прошло-миновало.
Осталась лишь нежная боль.

Это лучшее чувство —
из всех,
что отпущены людям.

До свиданья, любовь!

До свиданья, любовь!

Обязательно встретимся снова.

В сердце пусто не будет —

напрасно душой не криви!

В расставании, милая,

нет ничего рокового.

Это – анахронизм:

погибать от несчастной любви.

Переменятся чувства —

и мы переменимся сами.

Так со сменой жильцов

свет иначе мерцает в окне...

Но высокие женщины

с пристальными глазами

До последней черты

будут горестно дороги мне...

В автобусе

– Прости! Ах, как с тобой все сложно!

Взгляни в окно. Да не сердись!

Автобус дребезжит, чем можно,

И мчится, грязь взметая ввысь.

Гляди, чернеет лес за полем.

Он, как огромная толпа,
Которая без общей воли
Нерасторопна и глупа.
Смотри, деревья, что поближе,
Навстречу дальним тем иду,
Те притомились, отстают,
Те догоняют...

И я вижу,
Как бестолково дерева,
В сугробах потеряв дорогу,
Бредут рассеянно, не в ногу,
Идут кто в лес, кто по дрова...
В межсосенной неразберихе
Автобус наш им не догнать.
За нами вслед несутся крики
Скрип сосен, крики подождать...
А мы – быстрее,
а грязь – все выше!
Взлетает прямо до небес...
Что наша ссора! Посмотри же:
В противоречье целый лес!

Случайная встреча

Мы с ней целовались
в холодных и гулких подъездах,
Пугаясь внезапных

шагов и гремучих замков.

В тетради моей

«икс» всегда пребывал в неизвестных.

И наш математик

ругался: «Не спи, Поляков!»

Мой школьный роман!

Неужели все это случилось?

Чудесное время.

Невинный и нежный пустяк...

А вот у нее —

жизни правильной не получилось:

Хотела, как лучше,

да только случилось не так.

И вот мы опять

с ней идем по-старинному, рядом.

Она – о разводе, о сыне...

И вдруг невпопад:

– Сама виновата...

Да ладно! А помнишь, в десятом?!

– Конечно, все помню...

Наверно, и я виноват...

Семейное счастье

На доброту,

привычку и уют

Любовь распалась.

И пребудет с нами.
Бегут минуты,
дни мои идут,
Чтобы, собравшись,
сделаться годами.
Настырный дождь ручьями в землю врос.
Фонарь в себя вбирает свет как будто...
Подумать только —
это же всерьез:
Бессонница, мелькнувшая минута,
Невнятный разговор с самим собой,
Навязчивая горечь сигареты...
И это все
я назову судьбой,
Когда наступит время для ответа?!
А может быть,
совсем чуть-чуть труда,
Как в сказке про расколотое блюдо?
Итак,
уют, привычка, доброта!
Уют, привычка...
Вдруг они сольются?..

Печальница

В темном взгляде – соленое море обид.
На лице – беспросветная тень.

Эта девушка в мерзлом подъезде стоит,
Эта девушка ждет целый день.
Ей – красивой – хватает смиренья и сил.
Сжаты губы в надменную нить —
Не торопится тот,
 кто ее разлюбил,
Но должна же она объяснить,
Что нечестно,
 с другой не считаясь душой,
Так вот взять и спокойно уйти!
Он поймет и вернется (ведь он не чужой,
У него ведь не камень в груди!).
Я с печальницей гордой совсем не знаком,
Но я все-таки к ней подойду,
Подойду и скажу:
 ни мольбой, ни стихом
Не поправить такую беду.
Все напрасно теперь,
 если нежность мертва,
А упреки готовь не готовь...
Подойду...
 Вдруг она отыскала слова,
Возвращающие любовь?..

Самоволка

Довела любовь до самоволки.

Схоронившись меж густых раakit,
Юный конармеец – комсомолке
О всемирной схватке говорит.
Мол, покуда «контрики» остались,
Не бывать свободному труду!
Вот ведь как подругам объяснялись
Парни в девятнадцатом году!
Мальчик, первой страстью ошарашен,
Жарко шепчет, белякам грозя...
О любви, наверное, можно краше,
Но точней, по-моему, нельзя!

Старинный спор

...А все же миром
 правят трудолюбые!
У леденящей бездны на краю,
Превозмогая все,
 сжимая зубы,
Они работу делают свою,
Они живут,
 в одну работу веря,
Сердца до побеленья раскалив.
...Усидчив был Антонио Сальери,
А Вольфганг Моцарт был трудолюбив!

Песни

Прошли над землею века,
Как медленные ураганы.

Дошедшие издалека,
Добытые из кургана,
Под ярким музейным стеклом
Лежат с ярлычками названий:
Пробитый в сраженьи шелом,
Обрывки обугленной ткани,
Монеты, кинжалы, мечи,
Божки золотые и перстни,
И кажется, что различим
Народ позабытый...

Но песни?..

Что были, как стрелы, остры,
Легки, словно конские гривы,
Горьки, точно стойбищ костры,
И как-то иначе красивы!
Но как?

В погребальной золе
Находят остатки сокровищ,
А песни живут на земле —
Их из-под земли не отроешь...
Мы знаем и веру, и род
Людей, обернувшихся пеплом.

Но что можно знать про народ
Без песен,
 которые пел он?

Легенда о богомазе

Жил да был богомаз на Руси.
Он бродил по земле без опаски,
Потому что с собою носил
Только кисти да чистые краски.
Он корысти себе не искал
В монастырских богатых заказах,
Просто шел по Руси и писал
Богородиц своих ясноглазых.
Для него выше княжьих наград,
Глубже евангелических истин
Был тоскующей женщины взгляд,
Отверзающийся под кистью.

И решил испытать его Бог,
И послал на невинного кару:
На одной из неезжих дорог
Богомаза схватили татары...
Стал он травами русской земли,
Но легенда осталась в народе,
Что горючие слезы текли
В этот день из очей богородиц.

И монахи попадали ниц,
Прихожане в испуге крестились —
Настоящие слезы катились
По щекам нарисованных лиц!

Забытая дуэль

– Стреляться! Стреляться! – крикнул
Кюхля.

Пушкин усмехнулся и потрянул головой...
Ю. Тынянов «Кюхля»

Да что вы, в самом деле, братцы?
За несколько язвящих строк
С товарищем своим стреляться,
Собрату целиться в висок!

Да разве можно двум поэтам —
Избранникам российских муз
Вверять коварным пистолетам
Ребячью ссору, блажь, конфуз.

Клокочет Пушкин, но понятно,
Что не поднимется рука:
– Извольте, ежели вам приятно!
И бах – заряд под облака.

А Кюхельбеккер, тот в запале,

Насмешкой дружеской взбешен,
Он мимо выстрелил едва ли.
Случайно промахнулся он.

Потом до смертного порога,
Казня себя за тот картель,
Благодарить он будет бога,
Что пуля не попала в цель.

И будет видеть пред собою,
Что мог принести тот глупый миг:
Окровавленной головою
К сырой земле Сверчок приник.

Читатель, ты представь попробуй,
Что гения во цвете лет
Сразил свинцом не меднолобый
Кавалергард, а друг-поэт!

Ну, нет, немислимо такое!
Превозмогаю злой угар,
Сама поэзия
 рукою
Железной
 отвела удар...

Рассказ экскурсовода

– Вот на этой походной кровати

Под шинелькой солдатской,

встарь,

От монарших и прочих занятий

Утомясь,

почивал государь.

Император считал:

на порфире

Не бывает от крови следа.

Принцип: кто не со мной —

тот в Сибири,

Средь законов был главным тогда!

Впрочем, царь не бежал наслаждений —

Был он первый в стране сердцеед,

Ведь от царственного вожделья

Польза есть, а спасения нет!

Умер деспот.

Сменилась эпоха.

Но у нас до сих пор говорят:

– Да, конечно, при нем жили плохо!

– Был тираном.

Но спал, как солдат!

Идешь сквозь поле незаметной тропкой
И словно ощущаешь: рожь растет!

Как хороша, возлюбленная, ты,
В прозрачной темноте смеясь глазами...
Мне кажется, что чувство красоты
Мы принесли, того, быть может, сами
Не замечая, из-за той черты,
Где были рожью, влагой, небесами...

Моя космогония

Наташа,
погляди на вспышки звездные,
Затеявшие на небе
возню!

Вселенная!
Порядки там серьезные,
Но я тебе сейчас их объясню.
Вселенная.

Наука разделяется,
Когда берется толковать о ней:
Сжимается?

А может, разбегается?
Пulsирует,
как сердце...

Так верней!

немного о любви...

Бессонница

От бессонницы есть спасенье...
Под багрово-желтым дождем
По гремучей траве осенней
Мы, как прежде, с тобой идем.
Под ногами – пинцеты хвои.
И багровый лист в небесах.
Мы почти заплутали с тобою
В непроглядных этих лесах,
Но потом отыскали проселок.
Он был палой листвой занесен
И терялся меж синих елок,
Душных, словно полдневный сон...
Но опять на краю сновиденья
Пробегает печаль по лицу.
Значит, нас разлучило уменье
Ориентироваться в лесу...

В поезде

Я в поезде,
на верхней полке:
Постукивают мимо города,

Деревни,
рощи,
дачные поселки —
Тот мир, где я не буду никогда.
Но почему?
А если налегке,
Вот так, как есть, —
с карманами пустыми —
Взять и остаться в тихом городке,
Давным-давно свое забывшем имя,
Затеять дом,
вещами обрасти,
Узнать соседей, слухи, кривотолки
И... оказаться как-то раз в пути:
Деревни,
рощи,
дачные поселки...

Как взнуданные, дернулись столбы.
Вокзала зданье набежало круто.
Состав у неслучившейся судьбы
Стоит четыре, кажется, минуты.

О значениях слов

Мы калечим природу, мы портим слова.
Скажем, раньше «орать» означало —
Засучить у рубах до рамен рукава

И пахать, налегать на орало.
А вот слово «пахать» означало «мести».
«Очагом» звали печку простую,
А теперь «очаги» в медицине в чести
И в политике!

Я протестую!

А виновна – поэтов огромная рать,
Но «очаг» поддается лечению:
Надо меньше лишь в новом значенье —
«орать»,
А «пахать» больше в старом значенье!

О своевременности браков

Мужчины! Дети Дон Жуана!
То в глубь греха,
то к небу ввысь.
И все им кажется, что рано
Супругою обзавестись.
И рассуждая: «Я ль не парень...»
Мечтают (можно их понять!),
Как сэр Джорж Ноэл Гордон Байрон,
Всех женщин враз поцеловать.
Жизнь холостому неплохая,
Пока лета невелики.
Живут, по женщинам порхая,
Как, извините, мотыльки.

Но час придет – кондратий хватит.
Посмотрят: кудри в седине,
Решат: теперь жены мне хватит...
А хватит ли теперь жене?

Перечитывая Уэллса

Вот в голубой, дрожащей глубине
Бредут два человека по Луне.

Гляжу на потрясающие кадры:
По лунной пыли топают скафандры!

Мне кажется, что я во власти сна,
Но там не бутафория – Луна!

Наутро все об этом зашумели,
Но дни прошли, потом прошли недели,

А где-то среди лета выпал снег —
Заинтересовался человек.

А через год – однажды я уселся
И с полки снял любимого Уэллса,

Раскрыл на случай – и попался мне
Рассказ о первых людях на Луне.

И вновь, как в детстве, были пережиты:
Полет чудесный, странствия, луниты.

Я позабыл о массе взрослых дел
И целый день над книгой просидел.

Фантастика! Когда же это будет,
Чтоб на Луне прогуливались люди?!

Конечно, мир подрос и раздался,
Но все, как мальчик, верит в чудеса.

А сказку автор здорово исполнил!
Большой талант...

И лишь тогда я вспомнил,
Как в телевизионной глубине
Брели два человека по Луне!

Тихая непогода

Мельчайший дождь.

Усталая трава.

И кажется,

что может длиться годы

Такая,

различимая едва

И тихая, как шепот, непогода.

Ее не замечаешь,

а потом

Уже у сердца вздрагивают воды.

Быть может, и мифический потоп

Был вроде долгой

тихой непогоды...

Октябрь. Орехово-Борисово

Лес городской желтизной

чуть заметно окрашен.

Словно не осень,

а некий осенний мираж,

Словно на белом холсте

новостроевских башен

Нестеров пишет пейзаж.

«Красная стрела»

Снег белый. Лес черный.

Все просто и строго.

Но вот уже лес позади!

И в песнях поется,

что жизнь – как дорога,

А значит – конец есть пути.

И значит – мы все
 доберемся до дома,
Но каждый —
 в свой собственный час.
Мы выйдем из поезда —
 все – незнакомо...
Дай бог,
 чтобы встретили нас!

* * *

Неясная погода на душе.
Тепло и знобко.
 Верно, будет ливень.
Невнятный гром – на верхнем этаже
Готовятся к дождю неторопливо:
Таскают воду, молнии куют,
Чеканят град.
 Небесная работа
Кипит,
 чтоб последождевой уют
Унял усталость, отдалил заботы.
Деревья наклоняются в окне,
И тучи наплывают, небо застя, —
То принимает
 (чувствую!)
 во мне

На градуснике – тридцать восемь
И девять. Скверные дела!
Зима, похожая на осень,
До бюллетеня довела.
Звонят приятели, жалеют.
Смеюсь, переходя на хрип.
Такое время – все болеют.
Да как! А тут всего лишь грипп,
Какой-то вирус вкрался в тело...
Но вот пока лежу без сил,
Чужой мою работу сделал.
Другой любимой позвонил.
Читаю, жду выздоровления,
И тает в сердце, словно дым,
Прекраснейшее заблуждение,
Что в мире я незаменим.
А дни бегут, как будто мимо,
И лихорадкой мучит страх,
Выходит, все мы заменимы
Как в центре, так и на местах.
И это осознав однажды,
Как на земле нам жить с тобой?
Неповторим, единствен каждый,
Но все же заменим любой!
Обидный вывод неизбежен,
И некого на помощь звать.
Об этом лучше думать реже.
Но это надо крепко знать!

Перед зеркалом

Донельзя знакомый,
по-утреннему сердитый
В предчувствии сотен
готовых обрушиться дел,
Застыв с поднесенной
к щеке электрической бритвой,
Он как-то всезнающе
вдруг мне в глаза поглядел.
Ему ли не знать,
что не все у меня,
как хотелось.
Из многих мечтаний
случилась одна чепуха.
Да что говорить:
подводила и совесть,
и смелость,
В сложении жизни,
а значит,
в сложенье стиха.
Да что говорить,
если сделано плохо и мало.
Полжизни прошел,
потому что нельзя не идти...
Мечтал о любви,
как и все, —

об одной, небывалой.
Была и она, —
но по-прежнему пусто в груди.
Такие дела...
Так что нужно скорее добриться,
Ведь нам на работу,
а ехать почти два часа.
Не будем грустить.
Мы всего еще сможем добиться,
Покуда глядим
без утайки
друг другу в глаза.

Стихи об откровенности

Не повезло в делах или любви:
На сердце – жгучий лед,
А разум – кругом...
Ты в одиночку душу не триви,
Пойди, поговори об этом с другом.
Скажи ему: «Мне плохо!»
Мы уже
Почти не говорим друзьям об этом,
Как будто, что творится на душе
У ближнего,
известно по газетам.
И мы живем, по-тихому скорбя,

А время дни уносит, нас уносит...
И если здесь не высказать себя,
Там, думаю,
 никто уже не спросит...

Дорожная элегия

*По дороге в Загорск понимаешь...
Евгений Блажеевский*

По дороге на службу
 погрустить успеваешь о смысле
Этой суетной жизни
 и даже припомнить, скорбя:
Да, тебе – двадцать пять,
 и сомненья почти уж догрызли
Часть души, что зовут
 ненавязчиво – «верой в себя».
По дороге на службу
 просмотреть успеваешь газеты,
Успеваешь узнать,
 как идут у Отчизны дела,
Что предпринял наш недруг,
 и что мы ответим на это,
И какая опять
 катастрофа в Европе была.
По дороге на службу
 понимаешь: любовь на излете.

И какая любовь!

Уж такую не сыщешь нигде...

Впрочем, вот я приехал,

вот я приступаю к работе.

По дороге со службы

я думаю о ерунде...

Гипотеза

Сергею Мнацаканяну

Мимо нас просверкивают годы —

Время никогда не устает!

Он придет однажды —

час ухода,

Хоть кричи,

а все-таки придет.

И не будет ничего за краем,

Даже пресловутой смертной тьмы, —

Просто мы,

как лед весной,

растает,

Но водой не сделаемся мы.

Вот и все...

В одно я верю только:

Силою,

не снившеюся нам,

Воскресят нас,

может быть,
 потомки,
Души восстановят по стихам.
Мы увидим мир
 непостижимый,
Странный мир, —
 где все мечте под стать!
Но ведь как...
 Ведь как писать должны мы,
Чтобы из стихов своих восстать?!

Домой

Люди едут с работы,
усталы, немного сердиты.
Смотрят в окна, зевают,
читают, мечтают тайком.
Восемь долгих часов
ими прожиты и пережиты
Возле жаркой печи,
у руля, за столом, за станком...
Люди едут домой,
к Окружной постепенно редя,
До утра возвращаясь
в нехитрый домашний уют...
Это будничныи факт,
но какой же должна быть идея,
Если ради нее
миллионы людей устают?

Если...

Если в мире все взаимосвязано
От шуршанья трав до хода лет,
Значит, все, что между нами сказано,
Важно для людей и для планет.

Значит, оттого, что двое досветла
По Москве бродили, обнявшись,
Где-то луг дождя напьется досыта.
На планете мертвой вспыхнет жизнь...

Мой сосед

Я расскажу про моего соседа.

Седой солдат.

На танковой броне

В Берлин въезжал он.

Мы вели беседу

За пивом «жигулевским» о войне.

Не о минувшей, – о другой,

что будет

Страшней любого Страшного суда.

И он сказал:

«Бессмысленные люди!

Всем надобен покой,

а им – беда!

Они перед своей Москвой

заслонов

Не ставили.

Знай на чужбине рушь.

За День Победы

двадцать миллионов

Не долларов,

а человеческих душ
Не заплатили.
Там, у них, не знают,
Как воет над младенцем мертвым мать!
Они еще войны не понимают.
И я бы не хотел им объяснять...»

Вечный вопрос

Нет, это не мудрость покуда —
Еще не такие года,
Но должен понять я:
откуда,
Откуда мы все и —
куда?
Пускай пародист затрепещет,
Почуяв двусмысленный ход,
Он этим —
беды не уменьшит
И выхода не найдет.
Живи, хоть смеясь,
хоть стеная,
Пребудет с тобой навсегда
Походная песня земная:
Откуда мы все и —
куда?!.
куда?!.

Летопись

*В лето 6537 мирно бысть...
«Повесть временных лет»*

И вновь разор.

Кровавая стезя

Ведет полки от сечи

к новой сече.

Нагрянет Степь —

целуют крест князя

И снова ссорятся.

И каждый год отмечен

Побоищами.

Мудрость и корысть

Перемешались с верою и злобой...

И вдруг всего лишь строчка:

«...мирно бысть...»

То «лето» обозначено особо!

Ему,

что гостю редкому, —

почет!

...Пусть правнук,

в наши

заглянув глубины —

В двадцатый век,

вторую половину,

Прочтет одно: «Бысть мир...»

Но пусть прочтет.

Древо жизни

Но древо жизни ярко зеленеет...

Гете

«Это страшно —

 помыслить о том,

Что на дереве вечнозеленом

Ты повис беззащитным листком —

И по неумолимым законам

Ветер времени,

 крону колебля,

Сбросит лист пожелтый на землю...»

Так поэты писали вчера.

В мире нашем,

 на глупости скором,

Мне страшнее другие ветра —

Что им дерево вывернуть

 с корнем!

Дай, судьба, нам

 погоду получше!

Или корни – хотя бы – поглубже...

Воспоминания о ночных тревогах

В сапоги задвинув ноги,
Застегнувшись на бегу,
Выстроимся по тревоге
В две шеренги на снегу.
Знаем, что комбат проверит,
Как умеем мы стрелять,
Взглядом недовольным смерит
И пошлет нас

досыпать!

А над нами – звездный трепет,
Тени черные раки.
Мы-то знаем:

враг не дремлет —

Он, всего скорее, спит!

Главный враг для нас с тобою —

Мартовские холода,

Ведь тревога боевою

Стать не может никогда!

В темень «трассерами» лупим —

Все мишени наповал...

Молодым я был и глупым.

Ни черта не понимал.

Пять минут

Юрию Смирнову

Светилось небо голубое,
Летел над плацом птичий шелк.
На пять минут веденья боя
Предназначался наш арtpолк,
Чтоб спохватились остальные,
Крича команды на бегу,
Чтоб развернулись основные
И крепко вдарили врагу!
Чтоб с гордостью рапортовали,
Как, множа воинскую честь,
Артиллеристы простояли
Не пять минут,
а целых шесть!

И что противник откатился,
Потери тяжкие неся,
И самолично убедился:
Нас провоцировать нельзя!
Врагу ответа никакого
Другого не было и нет
У нас от копий Куликова —
До баллистических ракет!
...А мы служили, не печалься,
Мы знали,

как нас дома ждут.
И все-таки предназначались
На пять минут.
На пять минут...

Командировка

Из армии не всегда приходят домой.
(Бывает всякое на ученьях.)
И вот провожает скорбный конвой.
Свой груз печальный
по назначению.
И вот два сержанта и лейтенант,
Качаются в поезде в такт движению
И обсуждают его талант
К стрельбе по движущейся мишени.
– А как он здорово пел в строю!
– Историю мог рассказать для смеха,
– А после учений за службу свою,
Наверно, и так бы домой поехал...
Лейтенант поеживается – скоро Москва,
Рыдания, вопросы, дрожащие плечи.
Сейчас не война.
Где возьмешь слова,
Чтоб стало легче...

На полигоне

Заряд составлен.

Точная наводка.

Но вот: «Огонь!» —

наушники гремят.

И в гуле приседает «самоходка»,

И где-то в небе шелестит снаряд.

И словно бы порыв густого ветра

Бьет в перепонки,

давит на виски,

А где-то — за четыре километра —

Земля,

вздываясь,

рвется на куски...

Ложилась пыль на черные погоны.

И струйки дыма из-под ног росли.

Мы частой цепью шли вдоль полигона,

Осколки выбирая из земли,

Распаханной не плугом —

мощью грубой,

Засеянной дождем семян стальных,

Похожих чем-то на драконьи зубы...

Бог ведает, что вырастет из них!

Долг

*Памяти поэта-офицера Александра Стовбы,
Погибшего при выполнении
интернационального долга*

Материнский охрипший,
 беззвучный вой.
Залп прощальный.
 И красный шелк.
Этот мальчик погиб,
 выполняя свой
Интернациональный долг.
Что он думал,
 в атаку ту поднявшись,
Перед тем, как упал и умолк.
Тьме отдать непочатую,
 в общем-то, жизнь —
Интернациональный долг.
Мы не раз вызволяли
 народы из тьмы,
За полком посылая полк.
Пол-Европы засеять
 своими костями —
Интернациональный долг!
Вновь не минула чаша.
 И сколько же чаш
Мы испили?

Мы в этом толк
Понимаем.
Наверное, это – наш
Интернациональный долг!

Из венгерского блокнота

...Гид предложил:

– Взгляните вправо! Там

Вы видите руины.

Здесь когда-то

Стояла цитадель.

Не по зубам

Была она любому супостату.

Держалась крепость долгие года,

Бойницы угрожающе зияли,

Но сгинула

почти что без следа.

– Так, значит, вашу крепость взяли?

– Никто не взял.

Усталый враг ушел.

Страна себя почувствовала в силе.

Тогда крестьяне из окрестных сел

Всю крепость на хозяйство растащили.

Угомонились камни наконец

В спокойной кладке дома или хлева.

Вот вам разоруженья образец!

Сгрудившись над картошкой
 в пакетиках слюдяных,
Перебивая друг друга,
 прихлебывая
 нетерпеливо,
Задиристо выясняли,
 кто же из четверых
Лучший поэт эпохи,
 лучший поэт на свете,
Чьи же стихи любимым
 будут захлеб читать,
Будут класть под подушку
 в третьем тысячелетье —
Лет через двести, триста,
 лет через двадцать пять!
Кто же останется? Кто же...
 Быстро стемнело в сквере.
Гаркнула тетя Груня,
 кружки сдавать веля...
Все мы останемся в мире —
 в разной, конечно, мере,
Если Земля останется...
 Слышите вы – Земля!

Личный опыт

Словно старая детская книжка,

Словно вид надоевший
в окне —

Та проблема,
с которой мальчишка,

Мой сосед,
постучался ко мне.

Я могу объяснить,
если надо,

Детям после шестнадцати лет,
Как узнать по холодному взгляду,
Приглянулся ты ей или нет.

Как влюбить
и влюбиться навеки,

Как уйти,
никого не виня...

Я учителем был,
и коллеги

Перспективным считали меня!

У парнишки все очень обычно.

Я сомненья развею, как дым,

Поделившись непедагогично

Личным опытом передовым.

В ситуацию вникну дотошно,

Чтоб совет оказался верней...

Но не легче любовь
оттого, что

Мы легко рассуждаем о ней!

Рассужденья мои – пустословье.

Кто рассудит,

как быть мне с тобой?
С нашей бесперспективной любовью
И с моей
перспективной судьбой?!

17 лет. Метро

За окном грохочет темнота —
Между «Комсомольской» и
«Курской»
На меня взглянула неспроста
Девушка
с насмешливостью грустной!
Тяжело быть юным и неловким, —
Сдерживая искренний порыв,
С девушкой
четыре остановки
Рядом ехать, не заговорив!
А с чего начать?
С погоды...
Глупо.
С комплимента?
Где же взять его...
Так вот и молчишь,
касясь тупо
Локтем, может,
счастья своего.

Но по стойте...

Комплимент выходит!..

Мне бы —

фразу вымолвить стройней...

Но по стойте!

Девушка выходит,

Двери мягко сходятся за ней.

Мне смешно,

мне холодно,

мне грустно.

Вот платформа поплыла,

скользя.

Я стою,

лицо к дверям приплюснув,

Хоть и прислоняться к ним нельзя...

Восьмиклассник

Его девчонку видели в кино

С тем длинноногим из восьмого «Б».

И вот —

лицо тоской искажено

И все теперь черным-черно в судьбе.

Он жадно ловит сигаретный дым,

Он разочаровался и обмяк.

Его девчонку видели с другим!

Ну, как тут жить?

Как людям верить?

Как?

Твердит отец, что это – ерунда,

А он, мальчишка, нюни распустил.

Мать говорит,

что это не беда,

А полбеда,

– чтоб он ее простил...

А он кусает губы до крови,

А он кричит, что все на свете ложь!

– Ты, паренек, сожмись, переживи!

Ты в жизни все тогда переживешь...

Первый поцелуй

Сумерки сиреневым туманом

Тихо поднимались от земли.

Я был говорливым мальчуганом.

Мы через Сокольники брели.

И не знали,

где бы нам усесться,

Чтобы скрыть ребяческий испуг.

Бог ты мой,

как трепетало сердце

От касанья несмышленных рук.

А потом —

как вспышка золотая,

Точно дождь из раскаленных струй,
Словно...

Я и до сих пор не знаю,
С чем сравнить тот,
первый поцелуй!

Однокурсница

Девушка задумалась на лекции,
Оборвав старательный конспект,
А доцент профессорской комплекции
Углубляет избранный аспект,
Горячится, словно мы замешаны
В том,

что в силу классовых причин
Все почти тургеневские женщины
Выше ими избранных мужчин.
А доцента тянет в настоящее,
И его сравнения резки.
Девушка, взволнованно смотрящая
Вдаль куда-то,

нервно трет виски...
– Не бери ты в голову, красавица,
Как теперь студенты говорят!
Наплевать, что ниже,
если нравится,
Если щеки рядом с ним горят.

Может, он о Кафке без понятия,
А словесность – не его предмет,
Но зато крепки его объятия,
Их надежней в целом мире нет.
У любви натура непонятная.
И, пытаясь разобраться в ней,
Я скажу: кто выше

– дело пятое.

Тут куда важнее, кто – нежней!

Начало

Еще я ничего не понимаю.
Не понимаю ничего уже.
Но трубку телефона поднимаю
С тревогою и радостью в душе.
Живу я от звонка

до нашей встречи.

Живу от встречи нашей

до звонка.

Как звонок мир!

Как вечер быстротечен!

Как бодро тело!

Как душа легка!

Какое лето!

Вот через заборы

Листва шагнула прямо на крыльцо...

Я слышу мир сквозь наши разговоры
И вижу сквозь лицо!

Твое лицо.

В старинном парке

Дождик моет старинные камни.

По беседке гуляет сквозняк.

Стань поближе ко мне.

Ты близка мне.

Невозможно и вымолвить —

как!

В черных лужах вода пузырится.

Воздух пахнет промокшей сосной.

Я-то думал,

что не повторится

Никогда это чудо со мной!

Словно мальчик,

я мучусь и трушу,

Говорю и молчу невпопад...

Как же так

ты вошла в мою душу,

Что не стало дороги назад?!

Почему?

Почему мы не встретились раньше?

Почему?

Почему?

Почему?!

Ты была бы иною,

вчерашней,

Предназначенной мне

одному!

И в душе бы моей не теснилась

Между долгом

и счастьем борьба,

И в глазах бы твоих не светилась

Та,

чужая,

другая судьба.

Мы с тобой жили разное

и разное —

Обитатели чуждых планет.

Не сложна жизнь,

а многообразна —

В этом, видимо,

весь и секрет.

Невесомой

и сильной рукою

Ты сотри мне печали со лба,

Ведь судьба не бывает другою,
Потому-то она и
судьба!

* * *

По арбатским переулкам
будем мы бродить весь вечер,
В темном сквере целоваться
под защитою листвы.
Небосвод высок и вечен,
как Арбат старинный вечен,
Вечны белые колонны
и сторожевые львы,
Но мгновенны эти губы,
эти руки, эти речи...
Это все неповторимо!
Боже, миг останови!
Мы идем по переулку,
Переулку Первой Встречи,
Миновав Проспект Желаний,
напрямик – в Тупик Любви...

Женщина

Шрамы

Мы с тобою нежны и упрямы,
Но придет расставания час —
И на сердце останутся шрамы,
Ощутимые только для нас.
Мы о них позабудем до срока,
И минувшим своим не томясь,
Будем жить.

Но прочна и жестока
Между прошлым и будущим связь.
И однажды,
осенней порою,
Вспомню я твой растерянный взгляд,
И глаза от бессилья закрою,
И почувствую: шрамы болят.

Что остается?

Остается смятая кровать,
Пахнувшая нежным
смуглым телом,
Остается право ревновать
И возможность заниматься делом.
Остаются шпильки на полу

Странный взгляд,
на прежний не похожий,
И совет «не ворошить золу»,
И последний поцелуй в прихожей.
Остается снимок,
а еще
В том,
тобой подаренном блокнотце,
Телефон.
И это хорошо.
Плохо только слово «остается»...

Сон

Душной кавказской ночью
сон приходит не скоро.
Долго по телу бродит
гул миновавшего дня,
Но только смыкаю веки —
по длинному коридору
Ты навсегда уходишь,
оглядываясь на меня.
И говоришь мне что-то,
но голос все глуше, глуше.
Я вижу, как плачут губы,
как помощи просит взгляд
И как по щеке стекает

черная струйка туши,
Я знаю: ты хочешь вернуться!
Но нет дороги назад.
– Постой! – я кричу. – Куда ты?
И вслед за тобой бросаюсь.
– Вернись! – я кричу. – Куда ты?
И не могу помочь:
К земле прирастают ноги...
Я плачу и просыпаюсь.
Кругом стоит неподвижно
густая южная ночь.
Все так же слышны обрывки
гортанного разговора,
Все так же видна полоска
берегового огня...
Но только смыкаю веки —
по длинному коридору
Ты навсегда уходишь,
оглядываясь на меня...

Объяснение

Милая!

Зачем тебе другой?
Этим за обиду не отплатишь,
Если неуверенной рукой
Ты чужие волосы погладишь.

Милая!

Приму любую мечь
За твои глаза,
от слез больные,
Но обиду можно перенести
Лишь вдвоем.
Зачем нам остальные?

Стихи о разлуке

Электричка с истошным звуком
Мчится,
свет впереди неся...
Приучайте сердца к разлукам,
Ведь иначе
прожить нельзя!
Ведь иначе...
А что иначе?
Не изменит привычка нас —
Ты глядишь на меня
не плача, —
Потому что нельзя сейчас,
Потому что,
во встречу веря,
Ты —
еще не простившись —
ждешь,

Потому что сомкнутся двери,
Прогремит по вагонам дрожь,
И столбы побегут проворно,
Замелькают в глазах кусты,
Станет крошечною платформа,
А на ней белой точкой —

ты.

...Закурю.

Возьму себя в руки,
Втиснусь в правильную канву:
«Если жизнь – это вид разлуки,
Значит, я хорошо живу!»

Невозможное

Ты опять заглянула вперед
И губами твердишь неживыми:
– Неужели все это пройдет —
И однажды мы станем чужими?
Неужели однажды, ничуть
Ни лицом, ни душой не печалась,
Ты отправишься дальше в свой путь,
Словно мы никогда не встречались?
Я же стану расчетливой впредь:
Только так может жизнь получиться...
Это невероятно,
как смерть,

Но все именно так и случится!

Диалог

– Послушай,
 что будет потом,
Когда ты...

 полюбишь другую?
Жить в городе этом
 пустом,

Как прежде,
 одна —
 не смогу я!

– Послушай!
 Что будет, когда
Нас вовсе не будет на свете?!
А ты жить мечтаешь всегда,
Как малые дети!

 – Как дети...

Тайна

Не нужно объяснений никаких.
Моя любовь —

 как терпкий день весенний,

Как звездный свет,
 как прозвеневший стих,
Как нелюбовь —
 не знает объяснений.
А станут внятны сердцу и уму
Весна,
 стихи,
 мерцанье звездной пыли,
Пусть остается тайной,
 почему
Мы, полюбив,
 однажды разлюбили...

О Луне

Наверное, был я настырно не прав.
И ты объяснилась со мной.
Сказала, вздохнув и плечами пожав:
«Не вечно ничто под Луной!»

На крыши домов опускался закат.
В окошках пылало стекло.
Мамаши домой созывали ребят.
Листву по асфальту мело.

И ты подняла воротник у пальто.
Ну, что ж, получил я сполна!

Печально.

Но много печальнее, что
Не вечна, увы, и Луна...

Разрыв

В доме пахнет безлюдьем,
Хоть все лампы горят.
Мы с тобою не будем
Разбираться,
 кто прав, виноват,
Багровея от пыла.
Выяснять,
 чья правей правота:
Это все уже было —
Дипломатия, и прямота,
И уходы с возвратом,
И прощенье с улыбкой змеи...
Это страшно, как атом, —
Расщепленье семьи...

С коляской

Сегодня у меня семейный вид!
Иду —

смотрю по сторонам с опаской:
Я не один,
я с детской коляской,
В которой,
улыбаясь,
дочка спит.

И все тревоги моего пути
Вам, папы, мамы, хорошо знакомы:
Преодолеть колдобины,
подъемы,
Внимательно дорогу перейти...

Усилие —
подъем внезапно крут.

Усилие —
бригада яму рыла.

Усилие...
А может быть, та сила,

Что
д в и ж у щ е й
в истории зовут?

Дочь

Круглолица и светловолоса,
Мы с тобою – две капли воды.
Ты – ответ на мои вопросы,
Для чего эти дни и труды.

Голубые глаза поднимаешь,
Смотришь весело и хитро.
Ты пока еще понимаешь,
Что такое – зло и добро.
Только все затуманят годы.
Жизнь пройдет,
 как по телу дрожь.
...Ты меня сохранишь от невзгоды
И от счастья убережешь.

Сам – себе

А я хочу себе помочь,
А я твержу о том,
Что у тебя, дурак, есть дочь,
Жена и теплый дом.
Допустим,
 в доме есть сквозняк,
Но есть ведь и уют,
Который «счастием»,
 дурак,
Спокон веков зовут!
– А как же быть
 с ночной тоской,
С мечтами об ином?
Решай:
 одним дом нужен свой.

Другим —
мечты о нем...

Полночный муж

Петру Корякину

Явиться домой
 в половине второго,
На кухню скользнуть,
 в темноте
Найти в сковородке немного второго,
Оставленного на плите,
Жевать и внимать,
 как за стеночкой тонкой
Поскрипывает тишина,
Как встала к проснувшемуся ребенку
Уставшая злиться жена, —
И вдруг загрузить о любви стародавней,
Забывтой любви
 и о том,
Что вот и пора —
 собирать свои камни,
А я уже выстроил
 дом.

Когда-нибудь

Все в жизни, наверно, возможно:

Когда-то и я, может быть,

Любить научусь осторожно,

Без боли, без страха любить.

В минуты прощанья и встречи,

Предательство даже открыв,

Я буду спокойно беспечен,

Насмешливо нетороплив.

Смогу и любовь, и утраты

Принять,

безмятежность храня...

И с этой поры

никогда ты

Не сможешь

так мучить меня!

Расходимся

Расходимся сдержанно,

честь по чести,

«Условия» обговорив меж собой.

И завтракаем пока еще вместе,

А все остальное —

давно вразнобой.
Но чтобы сдержанней сердце стучало,
Допустим,
 что не было прожитых лет,
Допустим,
 разрыв – это наше начало:
– Так, значит, в субботу на Сретенке?
 – Нет.

История любви

Ю. Батурицу

Приходит время горевать —
И, словно сердцу вторя,
Мне вспоминается опять
Мелодия «Love story».
Давно уж фильм забыли тот:
Другие
 интересней!
А вот мелодия
 живет —
Наверно, что-то есть в ней:
Тот элегический настрой,
Тот холодок по коже,
Который для души порой
И радости дороже...

Так и любовь.
 Уйдет – зови,
Уже не отзовется.
И лишь история любви,
Как песня,
 остается.

Воспоминания о несчастной любви

Закрываю глаза и чувствую
Душный запах ее волос,
Вспоминаю улыбку грустную,
Нежно-требовательный вопрос:
– Ты меня не разлюбишь?
Правда же?
– Как ты можешь!
 Конечно, нет! —
Я носил на свиданья ландыши
(За полтинник – большой букет)
И в кино до конца
 выдерживал
Производственные боевики:
Все сеансы в ладонях
 удерживал
Две ее тонкоперстных руки.
У подъезда,
 уже на прощание,

Мы стояли с ней обнявшись.

Я такие

давал обещания —

Не исполнить за целую жизнь!

Сердце в сладких мучениях корчилось,

А душа была счастьем полна,

Но понятно,

чем все это кончилось:

Разлюбила меня она!

Как смотрел я на мир с отчаяньем

И пойти был на все готов,

Обойду я пока молчанием:

Это —

тема других стихов.

Почему ж мне с улыбкой вспомнилась

Та мальчишеская беда?

Потому что кончилась молодость.

К сожалению,

навсегда...

В час пик

В переходе метрополитена

В час, когда народ спешит домой,

Два потока встречных непременно

Нас столкнут когда-нибудь с тобой.

Мы под шум толпы о всяком-разном

Поболтаем несколько минут:

– Как на личном фронте?

– Все прекрасно!

– А дела служебные?

– Идут...

– Ты прости...

– Да что ты! Все забыто...

– Ты пойми!

– А кто меня поймет?..

Тут прохожий нас толкнет сердито:

Это, мол, не сквер, а переход!

Я затороплюсь и неуклюже

Телефон попробую узнать,

Неудачно пошучу про мужа,

Попрошу увидеться опять...

Ну а ты,

улыбчиво печалясь

(Хочешь в грусть, а хочешь, в радость верь),

Скажешь:

– Мы удачно повстречались:

Я тебя забыть смогу теперь...

Телефон

А вот – пожелтый блокнот

В красивой обложке тисненой.

Страница, другая...

А вот —
И номер ее телефона.
Сомнений на пару минут:
А что там?

А как она встретит?
— Такие у нас не живут, —
Неласковый голос ответит.
Наверно, ошибка?

Опять
Вращается диск:
— Извините...
— Вам что? Сорок раз повторять?
И больше сюда не звоните...
А ты по «09» проверь.
Но девушка медлит с ответом...
И думай, что хочешь теперь,
А можешь —
не думай об этом.

После любви

Я теперь о тебе вспоминаю спокойно.
Боль и ревность в душе заменила усталость.
Так, должно быть,
народ вспоминает про войны,
От которых увечных давно не осталось,
Не осталось ни вдов, ни сирот.

Лишь порою
В старой книге найдешь описание сечи
Или, землю на месте сражения роя,
Меч заржавленный сыщешь
да прах человечесий.
И представишь,
о давней невзгоде горя,
Как пробитые стяги взвивались,
привольны...
Что же мы за народ?
О любви говорю я!
А выходит про муки людские —
про войны...

Не могу

Не могу,
Не могу,
Не могу не писать о войне!
Значит,
память других
ближе собственной памяти мне?
Значит,
беда чужие
утрат моих личных больней?
Не могу объяснить...
Если мог,

не писал бы о ней...

Из отцовского дневника

«Фашист – не человек! – сказал майор. —
Взбесившаяся гадина, зверюга...
Нет у него ни братьев, ни сестер,
Нет, ни отца, ни матери, ни друга!
Нет у него жены и нет детей...
И нет души.

Ему лишь крови надо!
И дела нет, товарищи, святей,
Чем раздавить зарвавшегося гада!
Теперь второе. Как пожар тушить,
Когда на дом упала «зажигалка»...
А нам бы в бой – фашистов задуть...
По ним ведь не заплачут. Их не жалко!

Я – живу

Мне душу бередают утраты эти.
Я всех погибших вижу наяву.
Им до смерти хотелось жить на свете,
Как мне сейчас.

Но я-то ведь живу!

Который не пел о любви.

Но и в тишайшие годы
Ты не отыщешь мне
Хотя б одного кого-то,
Кто не писал о войне...

Сороковые

Нам никуда от них не деться.
Их век неизмеримо долог.
В подушке каждого младенца
Сидит заржавленный осколок.

Обращение

Ушедшие, они, конечно, знают,
Как мы живем, наш каждый шаг и час
И думают, и созидают с нами,
А иногда, быть может, и за нас.
Поэтому, наверное, взрослея,
Пронзая толщу невозвратных дней,
С годами человечество мудрее,
В мечтах смелее и в делах сильнее.
Рационализаторство природы!

Умы ушедших светят нам из тьмы...
О, как за те четыре страшных года
Непоправимо поумнели мы.
Ни часу я под пулями не прожил.
Мне мирная страна судьбой дана,
Но не могу я без холодной дрожи
Произнести короткое – «война».
Она во мне горит кровавым нервом,
Вдается в душу огненной дугой,
Ведь не обрушья небо в сорок первом —
И я бы нынче был совсем другой.
И как поэты прежде муз просили
Гнать кровь стиха в сплетеньях строчек-жил,
Так павших я прошу о вещей силе
Сказать о том, чего не пережил...

Бездорожье

«Счастье существует лишь на проторенных путях (в обыденной жизни)» – цитата из романа Шатобриана «Рене». Пушкин любил это высказывание и часто цитировал.

Из источника

...А Пушкин не был декабристом:

Уж так сложилось,

что не смог

Избрать

в российском поле чистом
Печальнейшую из дорог.
И не пришелся ко двору он:
Царям **свободная хвала,**
Которую поэт дарует,
Тогда не надобна была.
Зато святому самовластью
Любви

служил он не за страх,
Но знал,
что обретают счастье
Лишь на обыденных путях,
Но знал и то,
что искра божья,
Не озаря торный путь,
Всегда ведет по бездорожью.
И в этом – суть. И в этом – суть!

На острове Святой Елены

Что видеть мог Наполеон,
Прозревший перед смертным часом,
Когда был словно распылен
На тысячи видений разум?
Когда бесплотною толпой
Клубились отблески былого:
Изгнание, Тулонский бой,

Коронованье, Ватерлоо...
Раскручиваясь все быстрее,
Сливались битвы, страны, лица:
Москва, Египет...

Князь Андрей
Под синевою Аустерлица.

Мураново

Ты помнишь, мы в Мураново брели
Вслед за бегущей по лазури тучей,
Нисколько не робея той земли,
Где жил поэт российский Федор Тютчев.
Шел дождь из жарких солнечных лучей
Со звонким градом

птичьих песнопений.

Он становился ярче, горячей,
А душный ветер веял все степенней.
До немоты прозрачная река!
Как из другого мира тени рыбы!
Речной травой обвиты облака,
Плывущие по золотистой зыби!
...И стерлась непонятная черта,
Как будто бы пришел конец разлуке.
И я впервые Тютчева читал,
Сменив слова на запахи и звуки!

останутся стены
С напряженными торсами
 кариатид.
Дом лесами оденется
 и постепенно
Все удобства двадцатого века вместит!
Будут лифты сновать
 вверх и вниз неустанно.
Никаких коммуналок!
 Одна благодать —
Жить в отдельной квартире,
 где в белую ванну
Можно влезть
 и о вечности порассуждать.
Словом, все будет,
 как полагается,
 кроме
Одного нарушенья порядка вещей:
В самом деле,
 а как быть с законом о форме,
Содержанию соответствующей?

Рассказ старого скульптора о первом вдохновении

– Ей, богу, такого ответа
Не ожидал никак...

– Контрреволюция – это

Люди в особняках.

Я – молодой, чумазый.

Со мной человек шесть.

Стучимся —

и к носу маузер:

«Кто еще в доме есть?»

Наверх поднимались молча,

Крадучись по пятам,

Рванули:

«А ну, сволочи!»

А там...

Мы на пороге замерли.

Там...

Ослеплены.

Там женщины беломраморные,

Крылатые пацаны!

А эти (числом не меньше.

У них,

так и есть,

штаб!)

С наганами – и за женщин.

Пали, мол, в баб!

– И не стреляли?

– Куда там!

Этот маневр не нов.

По – твердым телам статуй.

По – мягким телам юнкеров.

Грохот, осколки, ругань...

Эти шли до конца!
И Афродите безрукой
Нечем закрыть лица...
Лег по углам грохот.
Утренний свет сер.
Домовладелец охал —
Контрреволюционер!
Он своей пули дождался,
Враг пробудившихся масс...
А я сразу после Гражданской
Подался во ВХУТЕМАС...

Диспут

Легенда

Был прорицатель сморщен, стар,
В пещеру втиснут.
Был дерзок, молод комиссар —
И вышел диспут.

– Мы революции врагов
Разгоним стаю!
Не будет больше бедняков!
– Я это знаю...

– Мы всех накормим.

Наш набат

Весь мир разбудит!

Жизнь станет краше во сто крат!

– Все так и будет...

– Поднимет чудо-города

Всех звонниц выше

Страна свободного труда!

– Я это вижу...

– Да ты, старик, и впрямь – пророк!

Тогда скажи мне:

Как я умру? Какой мой срок

Отпущен в жизни?

Ты не молчи – я устою!

За дело наше

Готов я смерть принять в бою,

Под пыткой вражьей.

Пусть будет страшен мой конец,

А все же светел!

Не бойся, говори, отец!

Он не ответил.

Мемориальная доска

Золоченые буквы читаю:

«В этом доме работал и жил...»

Здесь он лучшие строчки сложил,

Те, которые я почитаю,

Те, которые чувствую кожей,

И хожу ведь сюда оттого.

Вот и мраморный профиль его.

Знатоки говорят:

непохожий.

Ну и пусть!

Я бы зря не корил

Эти мемориальные доски —

Ведь вон там,

у дворовой березки,

Он стоял, папиросу курил...

Маросейка

Я лбом к стеклу прижимаюсь:

темно в законном мире.

На милую Маросейку

ночь опустилась опять.

Уже тишина поселилась

в большой коммунальной квартире,

Все реже шаги в коридоре —

и нужно поэтому спать.

И бабушка стелет постель мне,

шепча непонятно и мудро:

– Вот жизнь-то, прошла-пробежала,
как день, пролетела, кажись...
Что значит «прошла»? – удивляюсь,
ведь завтра опять будет утро.
Что значит – «как день, пролетела»?
Ведь это же целая жизнь!

Взросление

...А в детстве неминуемая порка
Казалась мне страшной небытия!
Как больно ощущать!
Как помнить горько! —
Что я бессилён
за пределом «я»!
Мой детский ум упорно с этим спорил.
Воздушный замок рос и шел на слом...
Я повзрослел, когда однажды понял,
Что не всемогущ и в себе самом...

Вечер встреч

Седой учитель держит речь
И плачет поневоле —

Молоденький учитель

И. А. Осокиной

Молоденький учитель,
Я у доски страдал,
А ученик-мучитель
Вопросы задавал.
Откинёт крышку парты,
Наставит гневный взгляд:
– А вот Некрасов в карты
Горазд был, говорят?
Добро и разум сеял,
А сам!
Да как он мог?
А что Сергей Есенин,
А Александр Блок
Творили в жизни личной!!
Скажите – почему?

...Я непедагогично
Молчал в ответ ему.
Не знал я, как об этом
Сказать ученикам.
Нет! Нелегко поэтам
Жить по своим стихам.

Воспоминания о райкоме

Павлу Гусеву

Я был инструктором райкома,
Райкома ВЛКСМ.
Я был в райкоме словно дома,
Знал всех и был известен всем.

Снимая трубку телефона,
Я мог решить любой вопрос:
Достать молочные бидоны
И провести спортивный кросс.

О, как я убеждал умело,
Старался заглянуть в нутро.
Когда ж не выгорало дело,
Грозился вызвать на бюро!

К полночи доплетясь до дома,
Снопом валялся на диван,
Как будто я построил домну
Или собрал подъемный кран.

Оговорюсь на всякий случай:
Я знал проколы и успех.
Да, я инструктор был не лучший,

Тень кроны

Природа стирает людские следы,
Как будто прорехи латает:
Пустеют деревни —
 дичают сады,
Колодцы травой зарастают.
И, словно обиду на мир затая,
Меж тучами прячется солнце...
А может быть, жизнь,
 до кровинки твоя,
Не только тобою живется?
В лесу заплутаешь,
 присядешь на пень
И, слушая шорохи, звоны,
Почувствуешь:
 ты – лишь узорная тень
Лучами пронизанной кроны...

Зимний этюд

Март. Ветер.
 Я совсем продрог.
Река, замерзшая, прямая,
Течет притоки принимая

Под снегом спрятанных дорог.
Река жива и без воды:
Ее волнуют, морщат, зыбят
Припорошенные следы,
Лыжни,
 а с неба сыплет, сыплет...
Мир черно-белый,
 смазан, смутен,
Мир снегопадом испещрен,
Мир, словно фильм,
 который крутят
С доисторических времен...

Монолог

...И каким себя умным-разумным ни числи,
Как досаду сомнений в себе ни глуши,
Все равно есть на свете
 и чувства, и мысли,
На которые просто не хватит души.
Может, гены не те?
 И среда подкачала?
Не дано! И тебя ничего не спасет:
С рук талант не купить.
 Не начать жизнь сначала.
Не достичь ослепительных этих высот!
Что ж, смирись и живи.

Есть иные заботы,
Приносящие радость, достаток и честь...
Но, копаясь в земле,
не забудь про высоты —
Те, что не для тебя,
ну а все-таки есть!

Дорожная исповедь

Геннадию Игнатову

Дождливый ветер просквозил до дрожи.
Автобус опоздал на целый час.
Чем дальше в жизнь —
тем становлюсь похожей
На вас, мои попутчики,
на вас!
А был когда-то
простодушным богом,
Предполагал весь мир
перевернуть!
Нуждался в малом, рассуждал о многом...
Все так,
должно быть,
начинают путь.
Чем дальше в жизнь,
тем все трудней на деле

По-божьи жить
и думать о святом:
Сначала понял,
что небеспределен,
Что невесилен —
выяснил потом.
И так живу,
от глупостей опомнясь.
Попутчиками
сдавленный с боков...
Как втиснулись
в окраинный автобус
Полсотни неудавшихся богов?!

Поэт и врач

Хочу,
чтобы путь мой был долог,
Но каждому —
время свое.
Ах, мой дорогой кардиолог,
Послушайте сердце мое!
Хоть мне далеко до больницы
И с виду я не инвалид,
Но сердце болит и томится,
Томится оно и болит!
— Дышите.

Оденьтесь.

Картина

Болезни понятна:

скорей

Всего, у вас —

тахикардия...

– По-нашему, значит,

хорей! —

Что ж, с веком большим,

суматошным

Ты, сердце, пребудешь в ладах,

Коль бьешься размером двусложным

С ударом

на первых слогах!

Иронический автопортрет

Все время спешащий,

беседующий сам с собою,

С тоскою смотрящий

хорошеньким девушкам вслед,

Зашоренный службой,

стреноженный милой семьей —

Таков рядовой современный советский поэт.

Нет! Он, как и был,

выразитель, певец и так дале...

В нем Дантов огонь подугас, но еще не зачах:

Он ищет любовь
 в заурядном семейном скандале,
Он душу народа исследует в очередях.
Он пишет о БАМе, о храме,
 о старенькой маме,
Про трубопрокатный
 и трепетный девичий стан,
Он может всплакнуть
 над березкою, ставшей дровами.
Воспеть лесорубов,
 перевыполняющих план.
Он пишет в автобусе, в поезде и в самолете,
Использует также
 троллейбус, метро и трамвай,
Поэтому эпоса
 вы у него не найдете:
Сложил три куплета —
 и хватит, приехал, вставай!
Вот так он живет
 и прижизненной славы не просит,
Но верит, конечно:
 в один из ближайших веков
Прикрепят, быть может,
 в автобусе сто сорок восемь
Табличку:

**ЗДЕСЬ ЖИЛ И РАБОТАЛ
ПОЭТ ПОЛЯКОВ**

Из книги «Личный опыт» (1987)

Понимаете, люди!

Я, наверное, в чем-то,
 как в юные годы, беспечен.
И пока еще,
 к счастью,
 тяжелых не ведал потерь,
Но совсем незаметно
 я стал понимать,
 что не вечен.
И скажу даже больше:
 я в этом уверен теперь!
Присмотритесь:
 все меньше
 на солнечных улицах в мае
Ветеранов войны...
 Поглядите:
 от года тесней
Городские кладбища...
 Я это теперь понимаю
Не умом изощренным,
 но грешную плотью своей.

Годовые кольца

Теплолюбивые растенья,
Привыкшие к погожим дням, —
Малейшее сгущенье тени
Мерещится бедою нам,
А были пращурь покрепче!
Найдешь по кольцам годовым,
Когда слова гортанной речи
Гнал над полями горький дым.
А ведь еще страшнее было,
Когда, размашисто-легка,
Под корень пращуров рубила
Самодержавная рука!
Кровь и страдания без меры,
Ложь и безверие в груди —
Такие селекционеры,
Что заступи и отведи!

Монолог расстрелянного за невыполнение приказа

В. Цыбину

Я был расстрелян в сорок первом.

«Невыполнение приказа
В смертельный для Отчизны час».
Ударил залп.

Я умер сразу,
Но был неправильным приказ!
И тот комбат, его отдавший,
В штрафбате воевал потом,
Но выжил, вытерпел и даже
Еще командовал полком.
Тут справедливости не требуй:
Война не время рассуждать.
Не выполнить приказ нелепый
Страшнее, чем его отдать.
...Но стоя у стены сарая,
Куда карать нас привели,
Я крепко знал,
 что умираю,
Как честный сын своей земли...

Кино

По телевизору война.
Какой-то фильм,
 почти что новый.
Рассвет. Безмолвие. Весна.
Но дрогнул ствол многодюймовый,
И фронт ожил,

и враг попер,
Обрушилась артподготовка...
Но узнаваемый актер
Уже приподнялся неловко.
Вот он,
 бесстрашием гоним,
Взлетел на бруствер —
 и по знаку
Массовка двинулась за ним
В несокрушимую атаку!
И вдруг,
 разрывом опален,
Споткнулся
 и упал в сторонку...
Но однорукий почтальон
Надежно спрятал похоронку...
И он воскрес!
 Сквозь забытьё,
Сквозь кровь
 на той траве весенней
Усталые глаза ее
Показывали путь к спасенью.
Потом —
 завшивленный барак
И шепот о побеге скором —
Недолго поглумился враг
Над узнаваемым актером!
Вот общий план:
 дорога, даль...

Обратный путь,
какой он длинный!
Луч солнца высветил медаль,
Медаль «За взятие Берлина»...
А мой сосед вздохнул опять:
– Ведь это ж надо
так завратся!
А впрочем...
Правду рассказать —
Недолго сердцу разорваться...

Информация из-за рубежа

Читаю и опять кусаю губы:
Виновники немислимой беды —
Подонки, изуверы, душегубы
Опять сухими вышли из воды.
А говорили: им теперь не скраться,
Кого они на помощь ни зови,
Скоты, клятвопреступники, убийцы
Опять живыми вышли из крови.
Теперь им что?
Теперь хоть небо рухни.
Они уже в другом конце земли.
У них – кабак национальной кухни
Той нации, что чуть не извели.
А мы кричим «К ответу!», полагая,

Что время все расставит на места...
Нет, справедливость тут нужная другая,
Которая жестока и проста.

Ощущение

Чудесный день!

Осенний резкий свет
Слепит глаза и золотом, и синью.
Куплю газету, пачку сигарет,
Присяду, закурю...

Кроссворда нет —
Есть про «радиоактивную пустыню,
Которой станем, если...».

И от слов,
Почти привычных обезуметь можно,
Так человек, считая, что здоров,
Прислушался к обмолвкам докторов
И осознал, что болен безнадежно!

* * *

Давным-давно,
в детстве, мне объяснили,
что солнце

неумолимо остывает и когда-нибудь —
через много тысяч лет —
погаснет вовсе.

И тогда все сущее на Земле
погибнет!

По ночам я плакал
и мучительно фантазировал:
как же уберечь солнце от угасания,
а человечество

от неминуемой лютой смерти?

Я с трудом успокоился,
когда меня твердо заверили,
будто время от времени
в солнце врезается огненная комета
и светило разгорается с новой силой!

Теперь вечерами
я всматривался в черное небо,
похожее на огромный рентгеновский снимок,
ища глазами хвостатую спасительницу
рода людского.

– Не беспокойся! – смеялись взрослые. —

– На твой век солнца хватит!..

– А как же потом? – недоумевал я.

Прошло время.

Много времени...

Иногда вечерами я поглядываю на небо,
но уже не ищу комету-избавительницу,
я просто прикидываю,

какая будет завтра погода
и стоит ли выезжать с семьей на природу...

А в газетах пишут,
что солнце продолжает остывать,
и даже быстрее,
чем считалось раньше.

Донской монастырь

«Она бы мне могла составить счастье!» —
Какой старорежимный оборот...
Нам нужно было раньше повстречаться,
А может,
 позже...

 Кто тут разберет?

В Донском монастыре гуляет осень,
Ограды полны
 палою листвой.

Монахов нет...

 Давай у гида спросим:

Как дальше жить,
 что делать нам с тобой?

И как из дней,
 счастливых, буйных, пестрых,
Вернуться в мир
 постылой тишины?..

Но у тебя,
 как у принявшей постриг,
Глаза печальны
 и отчуждены...

* * *

«Разбилось лишь сердце мое...» —
это из романса.

Теперь так не говорят,
теперь скажут: «Инфаркт!»
– и, уж конечно, не по причине
любви.

«Разбилось лишь сердце мое...» —
это метафора.

Но почему же тогда,
возвращаясь домой
после нашей последней встречи,
я слышал,
я чувствовал,
как слева в груди
дробно и жалобно
стучат друг о друга
осколки?

«Разбилось лишь сердце мое...» —
это из романса.

Забытых и несыгранных ролей.
Я грех такой
 на сердце не возьму!
В тебя влюбиться —
 получить в придачу
И горний мир,
 где ни черта не значу,
И вашу закулисную возню.
Вот ты вошла,
 насмешлива,
 легка, —
Присела к зеркалу,
 втираешь грим умело,
А может быть, не грим —
 крем Азазелло?
Узнаю после третьего Звонка...

Вечер

Дождь со снегом
 в окно
 кулаками замерзшими
 лупит.
Я хожу и курю
 сигареты одну за одной.
Нет, я должен понять,
 разобраться:

она меня любит

Или просто играет,

как с глупым мальчишкой, со мной.

Но ведь я же и сам

никогда не любил обязательств,

Обещаний,

обетов,

нелепых расспросов впотьмах.

Почему же меня

ее сдержанность так обижает,

Недосказанность некая...

Нет, не в объятьях —

в словах...

Дождь со снегом

всю ночь

кулаками замерзшими лупит.

Скоро утро, а значит,

мы скоро увидимся с ней.

Я почти засыпаю,

мне снится:

она меня любит!

Сновидения мудры,

а утро еще мудреней...

Одиночество

Мне нравится быть одиноким —

И тишина, как звон цикад,
Дрожит над гипсовым горнистом,
Плывет над крышами палат,
Колелет ветер занавески.
Все как один,
 по-пионерски,
Уставшие ребята спят...
А там, за стеночкой дощатой,
Друг друга любят,
 затая
Дыханье,
 молодой вожатый
И юная вожатая...
Всей нежностью, что есть на свете,
Июльский воздух напоен!
Ах, как же так?
 Ведь рядом дети!
Она сдержать не в силах стон...
Ах, как же так?!
 Но снова тихо.
И очи клонятся к очам...
И беспокоится врачаха,
Что дети стонут по ночам...

Возвращение

Ну вот и пора —

возвращаемся
Каждый в судьбу свою.
Давай еще раз
попрощаемся,
Давай я опять постою
На скверике,
у киностудии,
Сжимая сникший букет,
С тревогой ловя в многолюдии
Единственный силуэт
И чувствуя,
как пробираются
По телу смятенье и дрожь,
Как сердце опять примиряется
Со страхом,
что ты не придешь.
...Ты выйдешь,
грустна и загадочна:
– Прости,
я на полчаса... —
– А мне и минуты достаточно —
Запомнить твои глаза...

* * *

Я видел,
как двое влюбленных

пытались и не умели расстаться.
Был темный ветреный вечер.
Над городом повисла тяжелая холодная туча.
Влюбленные медленно, с трудом
размыкали объятия,
потом,
крепко держась за руки,
отстранялись друг от друга,
точно хотели лучше разглядеть
и запомнить любимые черты.
Наконец,
 разорвав пальцы,
они, мучительно,
 непрестанно оглядываясь,
начинали расходиться в разные стороны.
Я видел,
 как неожиданно,
словно приняв некое важное решение,
юноша резко повернул назад
и бегом воротился
к замершей в ожидании подруге,
обнял ее,
 и все началось сначала, —
только на этот раз
воротиться пришлось девушке.
И, конечно,
ни юноша, ни девушка
не догадывались,
что в этих бесконечных прощаниях

и возвращениях,
как в витке гена,
зашифрована вся их будущая
любовь...

Зеленый лист

Поглажу ствол.

Он холоден и мшист.

Вверх посмотрю,

чтоб солнце ослепило...

Зеленый лист!

Ты превращаешь в жизнь

Сгорающее заживо светило.

Луч,

пролетевший сквозь безбытие,

Преодолевший черное безмолвье,

Вонзая в щит зеленый острие,

Становится дыханьем,

плотью,

кровью,

Тобою, мною...

Видно, неспроста

Я думаю и думаю про это.

А может быть,

и странный дар поэта —

Подобие зеленого листа?

Земляничная поляна

...И вот – рассветный лес,
 парной,
 туманный,
Трава умыта,
 ствол сосновый рыж,
А дальше —
 земляничная поляна:
Казалось,
 ступишь – ноги обагришь,
Казалось,
 не собрать всего и за год...
Но вот растаял
 золотистый чад,
И я иду из леса
 с горстью ягод,
Да и они —
 по-моему —
 горчат...

О памяти

Оттенков память не хранит,

Судьбу отображая в целом.
И у бывшего строгий вид:
То стало черным,
 это – белым...

И вот,
 порвав с прошедшим связь,
Забыв потраченные силы,
Я думаю,
 былым томясь:
– Быть может,
 так оно и было?..

Но если так,
 то как я мог
В том негодяе ошибиться,
Об этот камень ушибиться,
Быть с доброй женщиной жесток?
Как мог я
 не увидеть зло,
Себе ж готова неудачи?
Ведь все иначе быть могло!
...Но ведь и было все иначе!

Моей дочери

Из Добромира Задгорского

Ты отыскала первые слова —

Невинные,
 невольные глаголы.
Я начинал с того же.
 Ты права:
Мы в мир приходим праведны и голы.
Потом,
 как муравьи,
 найдем сучок,
Травинку,
 каплю меда
 – и довольны!
У каждого в душе живет сверчок,
Но он поет,
 когда мы сердцем вольны...

Реминисценция

Николаю Самвеляну

«Земную жизнь пройдя до половины...»
Я так хотел бы
 воротиться вспять.
Но время не дает,
 толкает в спину —
И нужно дальше весело шагать,
И делать вид,
 что опыт – это благо,

И веровать в познание без границ,
И понимать,
 что чистая бумага
Правдивее измаранных страниц...

* * *

Некогда я был учителем словесности.
И однажды,
пытаясь выразить ученикам
ту ненависть,
 которую испытывали
к Жоржу Дантесу-Геккерну
современники Пушкина, —
я сказал:
– Представьте себе на минуту,
что Юрий Гагарин
не разбился во время испытательного полета,
а был убит на дуэли
смазливый и наглым юнцом...
По глазам,
 по лицам учеников
я понял,
что нашел самое убедительное для них,
самое горькое сравнение...

Справедливость

Дантес умер в почете во Франции в 1895-м – в год образования «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

Он умер в девяносто пятом!
Министром был и пэром стал!
Заделался аристократом,
Как в Петербурге загадал.
Скончался старцем именитым
И схоронен

куда пышней!

Где ж вы шатались, Эвмениды,
Со справедливостью своей?
Вы покарать любого в силе.
Так почему

душе пустой

За кровь певца не отомстили
Бесчестьем или нищетой?
Зачем, в добро ломая веру,
Его не уложили в гроб,
Поставив к новому барьеру,
Вогнав свинец в бездарный лоб!
Зачем гниением проказы
Его не обратили в грязь,
Чтоб он про юные проказы
В подпитье вспоминал,

смеясь?!

Чтоб сладко пожил,

не ответа

За все сполна – в конце концов.

Иль божьей кары нет на свете

Для извергов и подлецов?!

Да будь бы я на вашем месте

О Эвмениды, —

ни на миг

Не мешкал бы с кровавой мезью!

– Дантес? Он милый был старик...

Завещание

Секундант на рассвете придет.

Примиренье?

Не может быть речи!

Подпоручик всю ночь напролет

Переводит бумагу и свечи,

Унимает озноб,

а не страх, —

Нужно трезво подумать о многом:

О семье,

о друзьях,

о долгах —

Перед тем

как предстать перед Богом...

В сердце взвесить и зло, и добро,
Тихо вымолвить слово прощанья...
Подпоручик,
 кусая перо,
Сочиняет свое завещанье.
У него талисман на груди.
Он шутя попадает в монету
И, не веря,
 что смерть впереди,
Пишет,
 пишет почти до рассвета.
...Под окном дробный шелест дождя.
Сон предутренный темен и сладок...
Дело чести мужской, уходя,
За собою оставить порядок!

Сельское кладбище

Здесь у меня никто не похоронен,
И надписи мне мало говорят,
Но я брожу
 под зычный грай вороний
По лабиринту крашенных оград,
Читаю даты
 и считаю строки,
Как будто жизни суть —
 в ее длине...

А в чем еще?

 Ни свод небес высокий,
Ни прах подножный
 не ответят мне.

Да и зачем ответ,
 простой и скорый,

Что вместо лада
 нам несет разлад,

Как этой старой церкви,
 на которой

Еще видны большие буквы —
 «СКЛАД».

Холодная осень

Какая холодная осень,
Как день полусонно тягуч,
Как редко покажется просинь
Меж тяжких,
 провиснувших туч!

А ветер
 то угомонится,
То градом ударит сплеча...
К побегу готовятся птицы,
Зачем-то про это крича.
И столько
 рябины на взгорье,

Здесь не ищи оставленный дневник
По тумбочкам...

 Сей этикет старинный
Теперь забыт.

 Ты обнаружишь в них
Обертку мыла,
 тюбик «Поморина»,
Использованный.

 Или на стене
Прочтешь душещипательную строчку,
С которой согласен я вполне:
«Как скучно просыпаться в одиночку!»
...Сыграли гимн,

 а я лежу без сна,
Пугаясь тьмы,
 своей и законной,
И жизнь так одинока,
 так грустна,
Как эта ночь в гостинице районной!..

* * *

Когда я – очень редко —
заворачиваю в мой
Балакиревский переулок,
заставленный бело-синими
новыми домами,

похожими на литровые пакеты молока, —
я отыскиваю глазами
старенькие, такие щемяще знакомые
деревянные домики,
окруженные выбеленными заборчиками
и старыми тополями,
ветви которых аккуратно ампутированы
во имя чистоты улиц.

Когда я – очень редко —
брожу по моему Балакиревскому переулку,
глубоко вдыхая
металлический запах теплого летнего дождя,
я испытываю странное чувство,
словно мне повстречался давний знакомец,
который с годами не старится почему-то,
а, наоборот, молодеет!

И вот я стою перед ним
и пытаюсь разглядеть
на его непривычно юном лице
милые моему сердцу,
но почти совершенно разгладившиеся
морщины...

Одноклассница

Он по столику перстнем стучит
И опять начинает сначала:
Мол, строка у меня не звучит —
Наставляет,

как жить,
чтоб звучала...

Крепко врос он в приятную роль
Златоуста,

пророка,
патрона —

Обветшалой эстрады король,
За ненужностью свергнутый с трона...

Сытый, самовлюбленный осел!..

Но сижу, уважительно стихший:

У него я однажды прочел

Гениальное четверостишие...

Жалоба

Кругом раскисшие сугробы,

С деревьев капает вода...

А как душе хотелось,

чтобы

Снег не кончался никогда!

Чтобы холодное светило

И каждый день и целый век

Над синей кромкою всходило

И поджигало чистый снег.
Чтоб я летел
 лыжнею плавной,
Всесильной радостью гоним...
Но вот не совпадают планы
Природы
 с мнением моим!
И потому в округе тает.
Водой заполнилась лыжня.
И в жизни так всегда бывает,
По крайней мере, у меня...

В электричке

Речитативом монотонным
Про долю горькую твердя,
Она влачится по вагонам,
Несет чумазое дитя,
Она бормочет еле-еле,
В глаза стараясь заглянуть:
Мол, погорели,
 погорели,
Мол, помогите кто-нибудь!
А я читал в одной газете,
Что все как раз наоборот,
Что просто попрошайки эти
Морочат трудовой народ,

Что у такой вот мнимой нищей,
Разобездоленной на вид,
Хранятся на сберкнижке тыщи
И дом —

дай каждому —
стоит,

Что это – просто тунеядцы,
Им только бы урвать свое,
Не смей, товарищ, поддаваться
На их притворное нытье!
Народ наш не возьмешь обманом,
Народ наш вовсе не таков!
...И каждый шарит по карманам,
Сор обдувая с медяков.

Современный спор

Николаю Игнашину

Остепененный врач завелся быстро
И стал кричать,

что существует Бог!

В ответ поэт,

носитель божьей искры,

Его перевоспитывал,

как мог.

До хрипоты,

друг друга обзывая,
Поэт и медик спорили о том:
Что есть душа,
и что есть плоть живая,
И что куда девается потом?!
Известно:
богословие – трясина,
Но никуда не денешься,
пока
Порой еще бессильна медицина,
Еще порой
беспомощна строка!
Врач, убеждая,
кофе лил на скатерть.
Поэт был аккуратен и речист...
Двадцатый век:
хирург – богоискатель.
Служитель муз – научный атеист!

Атеистические чтения

В какой-то книжке
(вспоминать не буду названия)
я как-то прочитал,
Что за измену получил Иуда
По тем годам солидный капитал.
А я-то думал раньше:

три десятка

Каких-то там серебряных монет...
И за такой пустяк (подумать гадко!)
Спасителя спровадить на тот свет!
Выходит, что Иуда был не промах.
В предательстве прибыток разглядев,
Он чаял сибаритствовать в хоромаш
Под ласками

древнееврейских дев.

И может быть,

благообразно-старый,

Любовью к достоверности горя,

Иуда сочинил бы мемуары —

Евангелие, проще говоря.

А то бы и витийствовал,

в запале

Громя корыстолюбие и зло:

Мол, самого чуть было не распяли,

Но вырвался. Считайте – повезло!

А как бы пел он

об Отце и Сыне,

О Духе, разумеется, Святом,

Но взял и удавился на осине

Истерзанный позором и стыдом.

Непостижимо сердце человечье:

Предателя замучила вина...

Так не бывает! Тут противоречье,

Которыми вся Библия полна...

Коммуналки

Как много случилось событий
В последнее время.

И вот

Кончается век общежитий —
Эпоха комфорта идет!
Из многоячейных и склочных
Своих коммунальных квартир
Мы вырвались в мир крупноблочный,
Отдельный, с удобствами мир!
О, здесь не фанерные стены,
Здесь нет посторонних ушей,
И здесь не кипят

после смены

На кухне пятнадцать борщей,
А возле кастрюль не толкутся
Пятнадцать хозяек,

как встарь,

И не с кем взбодриться,

схлестнуться

За кухонный свой инвентарь...

А раньше:

и радость, и горе,

И ссора в похмельном чаду —

Все рядышком,

все в коридоре —

И зло,
и добро на виду!
Друзья,
вы по чести скажите:
Жилищные сбылись мечты —
Теперь вам не жаль общежитий,
Семейственной той тесноты?
Мне жаль...
Хоть и дни протекают
В комфорте...
Когда раз в году
Сосед на меня протекает —
Я в гости к соседу иду...

* * *

А может быть,
все любви,
которые выпадали на долю
миллиардов людей,
тысячелетиями приходивших
на Землю
и уходивших с нее...
А может быть,
все любви,
о которых говорили,
вздыхали,

молчали

под Луной,
стершейся под затуманенными взорами,
точно старый-престарый пятак...
А может быть,
 все любви,
которые, отцветая,
 роняли семена
будущих страстей и желаний,
связывая все новые и новые поколения
в одну бесконечную очередь за счастьем.
Так вот,

 может быть,
 все эти любви
суть
задуманный и осуществленный
мудрой природой
долговременный конкурс
на самую жаркую,
 самую нежную,
 самую чистую,
 самую верную,
 самую крепкую...

Короче говоря,
 самую-самую любовь?!
Когда протрубят подведение итогов,
пара-победительница
получит в награду
вечную жизнь,

а значит, – и вечную любовь!..

Вот так!

А ты опять
пугаешь меня разводом...

* * *

Наверно, когда-нибудь
(люди очень пытливы!)
на срезе сердца
можно будет рассмотреть
любовные кольца.
Наверно, когда-нибудь
(люди очень внимательны!)
по толщине этих колец
можно будет отличить
испепеляющую страсть
от скоротечной интрижки.
Наверно, когда-нибудь
(люди очень изобретательны!)
пустоту сердца
можно будет прикрыть
изящной
текстурой —
так называют
полированную фанеру,
на которой нарисованы

изысканные узоры благородной древесины.
...Но мы-то знаем,
что под фанерой всего лишь
прессованные опилки.

Футурологические стихи

Все бесследно уходит,
и все возвращается снова.
И промчатся года
или даже столетья,
НО ВОТ
Отзовется в потомке
мое осторожное слово
И влюбленный студент
в Историчке
мой сборник возьмет.
Полистает небрежно,
вчитается и удивится:
«Надо ж, все понимали,
как мы...
Про любовь и про снег...»
Но потом,
скорочтеньем
скользнув остальные
страницы,
«Нечитабельно, – скажет. —

Двадцатый – что сделаешь —
век!..»

Стихи, не вошедшие в сборники или не опубликованные

Юношеские стихи (1968–1973)

Женщина

Чего же ты хочешь, женщина?
Чего же ты хочешь, женщина?
В моем интеллекте трещина,
Трещина поперек!
Из этой пылающей трещины
В глаза восхищенной женщины
Капает, капает, капает
Самый бесценный сок!
А щеки горят от радости,
Глаза потемнели от жадности,
А руки все тянутся, тянутся
В погоне за самым большим,
За тем, что хранится бережно,
О чем вспоминают набожно
(И цвета, наверное, радужного!),
Так вот, чего руки хотят!

И тянутся, тянутся к трещине,
Все ближе и ближе и ближе...
Чего же ты хочешь, женщина?
Не любви же?!

(1970, автору 16 лет)

Ее душа – Сокольники весной

Ее душа – Сокольники весной...

Вот пара, убежавшая с урока.

Он ей читает вдохновенно Блока,

Будя покой асфальтово-лесной.

Ее душа – Сокольники весной.

Деревья протянули к небу ветви

И просят листьев у весенних ветров.

Им хочется пошелестеть листвой.

Ее душа – Сокольники весной.

Но листьев нет. Налево и направо

Лишь пустота в раскидистых оправах.

И шелестят деревья пустотой.

Ее душа – Сокольники весной.

Я вижу лес от края и до края

И от одной лишь мысли замираю,

Что это все оденется листвой.

Ее душа – Сокольники весной.

Я буду слеп: стеною шелестящей

Прозрачная когда-то, встанет чаша,

Укрыв покой асфальтово-лесной.
Ее душа – Сокольники весной.

1972

Оттепель

...Дома простудились в январской капели
И громко чихают хлопками дверей.
«Пора распускаться?» – оторопели
Деревья, морщины собрав на коре.
Дрожат от озноба и клонятся по ветру,
Глаза удивленных скворечен раскрыв...
Останкино, словно огромный термометр,
Торчит из горячей подмышки Москвы!

1972, 2014

Воспоминания о младенчестве

Я родился на Маросейке.
Так сказать, коренной москвич.
Я из самого сердца Расеи,
Что поэты хотят постичь.
Я болел и охрип от ора,
Коммуналка забыла сон.
Приходил участковый доктор,
И качал головую он.

Бабка травами внука отпаивала
И гулять выносила в сквер,
Где чернеет чугунный памятник,
В славу шипкинских гренадер...

1973, 2014

В кино

Киносеанс. Спокойно в темном зале.
Вдруг кресла гром аплодисментов залил.
И зрители в порыве общем встали:
Через экран шел сам товарищ Сталин.
Неторопливо, в знаменитом френче,
Сутулясь, он партеру шел навстречу,
Как будто чудом до сегодня дожил,
А люди били яростно в ладоши...
От радости калошами стучали:
– Ну, наконец-то! Мы по вас скучали!
Усы, усмешка, голова седая...
Я тоже хлопал, недоумевая.

1973, 2014

На смерть Пикассо

Маленькая акробатка
С напряженной циркачьей улыбкой,

В голубом истертом трико,
Стоявшая в позе шаткой
И с грациозностью зыбкой,
Балансировавшая
 тонкой рукой, —
С шара на землю
 упала
И растеклась голубой лужей красок.
Умер Пабло...
 Вчера умер Пабло Пикассо...

1973

Элегия о стройотряде

Среди студентов говорят:
«Тот не студент, который
Не ездил летом в стройотряд
И не месил раствора.

Усталость мускулы свела
И голова лохмата.
О, как сначала тяжела
Обычная лопата!»

Когда работаешь за двух,
Почувствуешь на деле,
Что не всегда могучий дух

Живет в могучем теле.

Но сила явится в руке —
Заговоришь с веками
На самом древнем языке
«Тычками» и «ложками».

То куртку дождь протрет до дыр.
То солнышко ошпарит.
И скажет местный бригадир:
– Ну и дает, очкарик!

Проходит срок. Приходит час
Прощания тяжелый.
Мычаньем провожают нас
Коровы-новоселы...

1973

Осень на Карельском перешейке

Ветер хватает горящие листья
И с шипением гасит в лужах.
Он от плевел небо очистил.
Ветер кружит.
Хвойным запахом неистребимым
Обернувшись, как целлофаном,
Пожелтевшие щеки рябины

До багрянца зацеловал он.

Сентябрь 73-го

* * *

Так не о себе, а о небе.

О нем, как о хлебе своем.

Игорь Селезнев

В твоём окне – одно лишь только небо
Там, на твоём десятом этаже.
Ты ешь небесный хлеб. А я такого хлеба
Еще не ел и не поем уже.

Жить у небес – тут дело не в привычке.
Ты смел и нервы у тебя крепки.
Ведь сверху люди – чиркнутые спички.
Троллейбусы, как будто коробки.

А я на первом. И с балкона можно
Полить на клумбе чахлые цветы,
Футбол вчерашний обсудить с прохожим.
Да и боюсь я этой высоты...

1973, 2014

Лосиноостровские дачи

Обрывок дачной улочки
С верандами, балконами,
А где же крендель булочной?
Романы с моционами?
Пыль по дороге катится.
Коляска там проехала.
Мне это место кажется
Страничкой из Чехова.
А где же тут насельники?
Мечтатели и пьяницы,
Витии да бездельники?
Вдруг кто-нибудь появится!
Да и куда деваться им?
Темно. Дома прозрачные.
На этаже двенадцатом
Мерцают страсти дачные...

1973, 2014

Звезда пленительного счастья

Кругом валялся мусор всякий
От амуниции солдат.
И подавляющий Исакий
В день подавления был зачат.

Все тот же всадник, сфинксы те же,
Трон, содрогнувшись, устоял.
Рассвирепевший самодержец
По батюшке злодеев звал.
Потом в каком-нибудь центре,
На супостатов осердясь,
Уже по матушке их звали.
Был князь, да нынче снова – в грязь.
Шли в глубину огромной, мгливой,
Не осчастливленной земли.
И, затмевая декабристов,
За ними следом жены шли...

1973, 2014

Старые трамваи

Не верьте московским трамваям!
Заняв поудобней места,
Мы как-то совсем забываем,
Что это не поезда.

Трамвай, умудренный годами,
Несется, гремя и стуча,
И рельсы назад улетают,
Как ленты из губ циркача.

Иным повинуюсь законам,

За пыльным окошком отстав,
Мелькнули полужнакомо
Знакомые с детства места.

Трамвай убегает за город,
Понятное скрылось вдали.
И хочется всякий пригорок
Принять за округлость земли.

Какие-то дивные веси.
Все ново – деревья, трава...
На Беринговом проезде
Вдруг вспомнишь, что это – трамвай.

1974, 2014

Легенда

Жил в давние годы скупой —
И был он за жадность наказан:
Все золотом делалось сразу,
Лишь он прикоснется рукой.
И фрукты, и хлеб, и вино
Съедала червонная плесень,
Лилась соловьиная песнь,
Отборным звенящим зерном.
Он женской касался груди,
Но даже любовь стала пыткой:

Не счастье, а холодность слитка
В объятьях своих находил.
И так, не поняв ничего,
Угас он в тоске по живому.
Скиталась по мертвому дому
Лишь тень золотая его.
Метафоры блеск золотой,
На солнце тускнеющий сразу...
Поэт, ты подчас, как скупой,
Что был за порок свой наказан.

1974, 2014

Из цикла «Живопись»»

Борис-Мусатов. Водоем

Две девушки у кромки водоема.
Не лес, не небо отразились в нем.
Природа, пошатнувшись от надлома,
Упала в тот бездонный водоем.

Мир сущий под водою, словно Китеж.
Не отраженье, а шумливый град.
Но краше, чем другие, во сто крат
Художник шепчет: «Киньтесь в воду,
Киньтесь!»

Пройдите по церквам и площадям,
В садах обильных наберите вишен.
Там под водой набата звук не слышен.
Там пощадят, а здесь не пощадят.

Мир видеть в отражении воды,
И этим жить... Какое небреженье!
В беде – лишь отражение беды.
В искусстве – отраженье отраженья...

1974

* * *

Как ледящей твердости стекла
Коснуться лбом сереющего утра,
Увидеть все, что выюга намела,
Промерзнуть на ветру в пальтишке утлом.
Устало щурить сонные глаза,
Приветствовать медлительность трамвая,
Ловить в себе чужие голоса,
Как драгоценность, ночь перебирая.
И вздрогнуть, заскользив ногой по льду,
И замереть, как вкопанный, на месте,
И стоя у прохожих на виду,
Увидеть сон, где снова с нею вместе...

1974, 2014

Ранние стихи (1974–1980)

Февраль

В Москве февраль, но снова тает,
Чтобы опять застыть к ночи.
Капель ядреная, литая,
О тротуар весь день стучит.
Снег цвета довоенных фото
Лежит, подошвами примят.
Ворчанье шин. На поворотах
Трамваи старчески гремят.
Сугробы сторбились вдоль улиц.
Из них, журча, бежит ручей.
Сорвавшись, молнии сосулек
Пугают звоном москвичей.

1974

* * *

По наследству об ушедших судим.

Для чего потрачены года?
Что имел и что оставил людям.
Вот и все...

Но если б иногда...
(Нет, я не прошу об воскрешенье!)
Возвращаться к делу своему.
Так отец приходит в воскресенье
К сыну, что живет в чужом доме...

1975

* * *

Небытие... Как выглядит оно?
Я думаю о смерти по ночам.
Там, как сейчас, наверное, темно,
И так же, как теперь, часы стучат,
И тело полусном истомлено,
И мысли проплывают в тишине...
Я засыпаю. Смерть ужасна, но
То, что потом, почти не страшно мне...

1975

* * *

Я в лес вхожу, как в тайную страну,
Перешагнув крутых корней пороги.

Шумит листва, пни помнят старину,
Росистой травой вяжет ноги.
Седых стволов качающийся скрип,
Органную напоминает мессу.
И если я найду волшебный гриб,
То вызову зеленых духов леса!

1975, 2014

* * *

Метро к ночи похоже на Помпеи:
Все в умерших шагах погребено,
Как в сером пепле.
Звуки все слабее.
Здесь неба нет. Немыслимо оно.
Мозаика легла, как тень, на стены...
Здесь кто-то жил когда-то, но ушел...
И щеткой, похожей на антенну,
Уборщица метет античный пол...

1975

Черная речка

*На Черной речке белый снег.
Владимир Соколов*

Вот здесь. У этой речки. На дуэли
Он ранен был.

На Черной речке. Здесь
Барьерами чернели две шинели.
И снег на землю оседал, как взвесь.
А там – курки решительно взводились,
Тропинкою, протоптанной в снегу,
Жить рядом не хотевшие – сходились,
Чтоб верной пулей удружить врагу.
И в правоту свою глухая вера
Сковала насмерть каждую из душ.
И первым был у черного барьера
От ревности осатаневший муж.
Но увидав, как зазияло дуло,
Нацелившись безжалостным зрачком,
Повеса больше ни о чем не думал...
Снег рухнул с веток —

муж упал ничком.

Потом приподнялся, сжимая рану,
И целился, казалось, целый век.
Горд выстрелом, как «Сценой у фонтана»,
Не понимая горького обмана,
Он крикнул «браво» и упал на снег.
Но был его свинец неверно пущен.
Бард шел убить, но волею небес

Смертельно ранен Александр Пушкин.
И еле поцарапан Жорж Дантес.
Великий нежилец на белом свете,
Тобой играл неумолимый рок:
Поэт лежит в Дантесовой карете.
И мчит убийцу пушкинский возок...

2

Поэт прощается, прощает, примирившись,
Уносит силы почерневший день,
А на Фонтанке, у дверей столпившись,
Не верят люди в черный бюллетень.
Рыдает Гончарова в черном платье.
Жуковский шепчет: «Ах, не уберег!»
Разящим словом Лермонтов оплатит
Тем, кто взводил и нажимал курок.
Кому же мстить?

Кавалергардской страсти?

Тем, кто интригу закрутил хитро?
Мстить черной зависти, а может, черной власти?
Но вот уже открыты двери настежь:
Из рук упало вещее перо.

3

Царь приказал. Монарх покоя хочет.
Не волновались горожане чтоб,
В кибитке при жандарме черной ночью.
Был увезен из Петербурга гроб.
Вдова на память вещи мужа дарит,
Плывет над снегом поминальный звон.
Убийца по приказу государя
Навеки из России удален.
О нет, он от раскаянья не спятит,
Разбогатеет и окончит дни
Через полвека – в девяносто пятом
В кругу на совесть плачущей родни.

4

А чернота?

Ее всегда хватало.

Ведь для нее достаточно свинца.
И много очень мягкого металла
Прошло сквозь очень твердые сердца.
Со временем обиды побледнели,
Но давней черной памяти верна

Та речка, у которой на дуэли...
Но и она не потому черна...

1975, 2014

* * *

Итак,

я маг, волшебник, чародей
И я могу единым мановеньем
Остановить летучее мгновенье,
Остановить природу и людей:
Бегущих – в беге,
Любящих – в любви,
Врагов – в борьбе,
Обиженных – в обиде,
Убийцу – в страхе,
Мертвого – в крови...
И обойти весь мир и миг увидеть.
Вот странный дождь
Над городом застыл,
Застыл бегущий с зонтиком прохожий,
Взметенные кленовые листы
И холодок, помчавшийся по коже...
И капля побежала по стеклу,
Когда я вновь раскрепостил минуты,
Вне времени оставив поцелуй,
Который был последним почему-то...

1975

* * *

Природа все запоминает. Все!
Два леса, как сошедшиеся рати,
Лесной ручей кровь русичей несет
И пропадает в розовом закате.

А зайчик солнечный, неистово кружа
Среди благоухающего лета,
Отчаясь, мечется, как будто бы душа
Большого, но забытого поэта.

Природа помнит счастье, горе, страх, —
Все то, чего давно не помнят люди.
И солнце на закатных небесах,
Как голова Крестителя на блюде.

1976

* * *

Дни наши, спокойно текущие, —
На грани грядущего века
Невообразимый народ
Представит, как мы себе Пушкина,

А Пушкин представил Олега,
Сбирающегося в поход...

1976

* * *

Я держу в ладонях эту душу.
Осторожно,
 как чужую тайну.
Бережно,
 как нежную медузу,
Но душа в моих ладонях тает.
Я люблю ее,
 Но что же делать?
Я клянусь,
 но сколько можно клясться!
Клятвы предназначены для тела,
А душа уходит —
 между пальцев...

1976

* * *

Иною могла быть судьба у любимой.
Допустим, в какой-то из сереньких дней
Она промелькнула бы мимо незримо,

*Хорошо себя чувствую
В пятистенной избе.
Л. Беляев*

Сруб с замшелыми бревнами,
Покосившийся хлев,
За дорогой неровною
Прозябающий хлеб.
А прозябший – ковригою
Ублажает живот.
За недалнею ригию
Дорогуша живет.
Красной косовороткою
Удивляю быков.
Батя сгинул за водкою —
Магазин далеко.
Чу! Повеяло ладаном.
Боже, рай наяву!
Только вскорости надо нам
Возвращаться в Москву.
Много наших там кормится,
Деревенских не счесть...
У меня ведь и горница
В блочном тереме есть!

Овец

А вот в отдельной клетке хмурый,

*Огромный обезьян. Самец...
Ты принимаешь вызов гордо,
Бескомпромиссен ты в борьбе,
И что такое «про» и «контра»,
Совсем неведомо тебе.*
Валентин Солоухин. «У зверей»

Не отличая «про» от «контра»
Загвоздок от альтернатив,
Застыл он, взгляд суровый гордо
К воротам новым обратив.
Протест в душе бараньей зреет,
Отвага светится в глазах.
Стоят ворота – он звереет.
И вдруг удар – трах-тара-рах!
Ворота повалились наземь.
За ними повалился он,
Но не моргнули овцы глазом
И не покинули загон.
Нет, не понятен подвиг стаду!
В пыли найдя себе конец,
Лежит, осмеянный в награду,
Овец. Наверное, самец...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.